

## ТАРТУ

Этот город вошел в мою жизнь почти одновременно с Таллинном. Семья Габовичей очень не долго пробыла в Таллине. Яков Абрамович должен был закончить образование. Да и Дина ( я никогда не называл ее тетей Диной) решила учиться. Она поступила на филологический. Правда, заочно. Ведь был дом, был маленький Женя, наконец, жить на стипендию Яши возможности не было. Дина одновременно пошла работать, тоже в университет, секретаршей. Жили они поначалу в деревянной развалюхе на углу улиц Кингисеппа и Мичурина, но вскоре им дали две комнаты на втором этаже двухэтажного деревянного дома на улице Тяхе, где вместе с ними жила семья впоследствии моей коллеги по переводческому цеху Тани Верхоустиной. Напротив дома был парк, прилегающий к учительской семинарии, при доме был сад с огородом, где мы в голодные послевоенные годы подкармливались огурцами с грядок, моя их в бочке с дождевой водой. Через дом на углу был хлебный магазин, где мы отоваривали карточки, а в соседнем домишке по другую руку – промтоварный. Именно около него мне Женя и предложил стоять с протянутой рукой, чтобы насобирать денег на «коммерческий» хлеб, стоивший во много раз больше, чем «карточный». Наверное, крохотному тщедушному ребенку подавали бы. Но я не смог переступить через себя. Женина затея провалилась, не начавшись.

Поездки в Тарту мы с бабушкой совершали по несколько раз в год. Конечно, я становился, как я сейчас понимаю, для далеко не роскошествующей семьи Габовичей невольной обузой. Но, с другой стороны, бабушка на время пребывания в Тарту брала на себя бремя домашнего хозяйства, давая Дине возможность урвать время для учебы. На лето, как правило, Габовичи отправлялись в Эльву. В небольшой лесной поселок в 28 километрах от Тарту шел поезд. Он состоял из вагонов-теплушек с печками-буржуйками посреди вагона. Конечно, летом их не топили. Поезд шел неспешно, останавливаясь у каждого столба. Так что мы успевали даже поесть в дороге. Это было так интересно.

Одно лето еще в сороковые годы мы провели на совершенно роскошной даче. Один из довоенных друзей Якова Абрамовича стал председателем Эльваского исполкома, то есть по-нынешнему – мэром городка. Он жил почти напротив вокзала в двухэтажном доме. И две комнаты на первом этаже предоставил в наше распоряжение, причем бесплатно. На полу лежали ковры, стояли напольные вазы, в которых каждые два дня хозяйка меняла цветы. Нам доверялось рвать цветы для ваз в большом (по нашим тогдашним меркам) саду. Но главной достопримечательностью этой дачи для нас были две овчарки хозяина – Пойс и Цапик. Через неделю собаки не отходили от нас с Женей, не обращая внимания даже на хозяина. Собаки были ученые. Цапик как старшему хозяйка давала в зубы кошелек, а

Пойсу – корзинку. В корзинке лежала записка, что нужно купить. И псы самостоятельно отправлялись на базар. Первая попавшаяся торговка, у которой останавливались собаки, доставала записку, и если что-то из перечисленного было у нее, отмеривала и отвешивала, клала в корзинку, брала у Цапика кошелек, доставала деньги, отсчитывала сдачу и совала кошелек обратно, в пасть Цапика. А затем кричала другой торговке, у которой было еще что-то из требуемого, чтобы она позвала собак. Там операция повторялась. Домой Пойс и Цапик возвращались с полной корзинкой. И я не помню, чтобы хозяйка хоть раз посетовала, что ее обсчитали или недодали. И отнюдь не потому, что никто не хотел связываться с женой начальника. Просто такого в заводе не было – обманывать. В маленьком городке не только все знали всех, но все знали, у кого живет пришедший на базар дачник, как его зовут, сколько детей бегают на этой даче по двору и т.д. Когда уходили купаться на озера или в лес за ягодами, можно было не запирать двери. Сейчас только на маленьких островах сохранился обычай, уходя, подпирать дверь колом – знаком, что никого нет дома. Тогда это было, кроме самых крупных городов Эстонии, делом самым обыденным. Бытовая честность была у сельских и полугородских эстонцев в крови.

Эльва стала в послевоенные годы очень популярным местом отдыха. Помимо университетских преподавателей из Тарту, там проводили лето ученые, писатели, художники из Ленинграда и Москвы. Там я познакомился со многими известными людьми, о которых еще расскажу. Не надо думать, что у меня мания величия. Именно так: я познакомился с ними, что совершенно не обязательно означало, что они познакомились со мной.

Когда я поступил в школу, поездки с бабушкой в Тарту стали более редкими. Но почти все каникулы я проводил там. Ни у меня, ни у Жени не было родных братьев и сестер, и мы росли братьями. Конечно, он как старший, был для меня кумиром. В этом возрасте разница в три года весьма ощутима.

В начале пятидесятых годов Габовичи в очередной раз переехали. Они получили двухкомнатную квартиру на третьем этаже дома на углу улиц Тяхе и Ванемуйне. Это был только что построенный дом рядом с развалинами театра «Ванемуйне». Соседство для нас очень немаловажное. Развалины притягивали нас как магнитом. Это было замечательное, хотя и не очень безопасное место для игр. Там в каникулы – летние или зимние – все равно, собиралась тесная компания, хотя и различного составе. В компании моих ровесников были ребята из соседнего дома Гера Шпунгин, эстонский мальчик Тынис, еще несколько ребят. Язык общения варьировался – нам всем было практически все равно – говорить по-русски или по-эстонски. Играли в прятки, прыгали, прычась, из

полуобрушившихся лож на такой же полуобрушившийся балкон. Играли и в карты, даже в «очко», правда не на деньги – из-за полного их отсутствия. Если залезть на самый верх стен, как на ладони открывался вид на военный аэродром за рекой Эмайгьи. Именно на нем дислоцировалась впоследствии дивизия первого президента Чечни Джохара Дудаева. Летуны, как мы их называли, тоже любили посещать развалины – и не только по нужде. Сюда они водили своих дам. Тоже было эффектное зрелище для детских глаз и ушей.

Через несколько лет, когда было принято решение строить новый театр на том же месте, развалины взорвали. Всех жильцов соседнего дома попросили на время взрывания покинуть квартиры и отойти на безопасное расстояние. Но куда же деть детское любопытство: ведь не каждый день рядом должен раздаться настоящий взрыв! Пока взрослые удалялись, мы удалились от них на максимальное расстояние и подобрались к самому оцеплению. Взрыв был впечатляющий: стены поднялись в воздух и затем осели. Кирпичи летели в разные стороны. Один задел голову не то взрывника, не то рабочего. Ему снесло полчерепа. Когда пыль осела, вместо величественных развалин лежала груда битого кирпича. В нашем доме со стороны театра вылетели стекла, но больше никакого ущерба взрыв дому не нанес, хотя вряд ли от него до развалин было больше пятидесяти метров.

Вылетели стекла и в квартире заведующего кафедрой русской литературы университета Бориса Федоровича Егорова. Этому человеку Тартуский университет во многом обязан своей былой научной славой.

Борис Федорович, насколько я знаю, был по образованию авиационным инженером. Прощел всю войну. И так ему обрыдло за эти годы все военное, что он за год-два закончил филфак Ленинградского университета, защитил кандидатскую диссертацию и был направлен в Тарту. Именно он в самом начале пятидесятых, притащил в этот захолустный эстонский городок группу ленинградских «космополитов», которых выбросили в Питере за неблагонадежность. Среди них были не только филологи. Одного перечня имен достаточно, чтобы понять, какую службу сослужил эстонской науке авиационный инженер Борис Егоров. Среди приехавших в Тарту были Юрий Михайлович Лотман и его жена Зара Григорьевна Минц, Павел Семенович Рейфман, Михаил Лазаревич Бронштейн, Рэм Наумович Блюм, Леонид Столович, жена Рейфмана – неоднократная чемпионка Советского Союза по шахматам Лариса Ильинична Вольперт преподавала французскую литературу в Псковском пединституте и тоже частенько бывала в Тарту, а затем и вовсе переехала, став профессором кафедры зарубежной литературы.

Филологическая часть этой компании, как теперь сказали бы, постоянно «тусовалась» у Габовичей. Первым всегда приходил большой и полный, очень для меня тогда старший, с редкими волосами и пышными усами Борис Васильевич Правдин. Он работал в Тартуском университете еще с довоенных лет. Был одним из авторов и на сегодня одного из лучших русско-эстонских словарей (вместе с профессором Арумаа), он же был соавтором и поэтического сборника вместе с Игорем-Северяниным и Вальмаром Теодоровичем Адамсом (ни Вальмаром, ни Теодоровичем, ни Адамсом этот человек не был. Дина упорно называла его Владимиром Федоровичем Александровским. Эстонизировался он в тридцатые годы в угоду политической конъюнктуре, как это делается некоторыми и в во время написания этих строк. Мой коллега по газете «Советская Эстония» фотокорреспондент Виктор Рудько с восстановлением независимости Эстонии стал в одночасье Виктором Вестериненом, например).

Борис Васильевич приходил не просто так. К его приходу Яков Абрамович уже заканчивал сочинение очередной шахматной задачи. Габович-старший был заядлым шахматистом. Все свободное время он сидел у «Вернера» - так до войны называлось маленькое кафе почти напротив университета ( в мое время оно уже называлось кафе «Тарту») Там были не только круглые столики, за которыми можно было выпить чашку замечательного ароматного кофе со свежайшей булочкой, но и продолговатые в разделенных перегородками «кабинках» у стены. На каждом столике стояли три неперемных атрибута: шахматная доска, шахматные часы и полная окурков пепельница. Дым в полузакрытых кабинках стоял такой, что и шахматную доску разглядеть можно было с трудом. Однако никому это не мешало, в том числе и пришедшим просто попить кофе и поговорить. Не помню случая, чтобы в кабинке сидели только двое игроков. Всегда ее заполняли до отказа (шесть мест впритык) и болельщики, и желающие сразиться с победителем. Иногда играли на деньги. Правда, небольшие, больших тогда ни у кого из завсегдатаев кафе не было. Играли «блиц» по пять минут. Однако, когда кого-нибудь «заедало», засаживались за серьезную партию. И тогда болельщики просто взывали от каждого, по их мнению, неудачного хода. Яков Абрамович во время игры курил почти непрерывно. У него всегда был с собой запас набитых им самим папирос – он покупал гильзы и табак, каждый вечер набивал суточный запас и в мундштук каждой папиросы всовывал кусочек ваты – прообраз будущих фильтров. Думаю, что без этой ваты он бы долго не выдержал – я иногда разрывал гильзу выкуренной им папиросы и видел, в какое желтое месиво превращался этот кусочек ваты. Больше него курил, по-моему, только один игрок – будущий президент Эстонии Леннарт Мери, длинный тощий холерик. Глядя на него в годы президентства, в это трудно было поверить.

Но главным увлечением Якова Абрамовича была шахматная композиция. Его задачи публиковались во многих специализированных и не очень общесоюзных изданиях, он неоднократно становился победителем конкурсов и чемпионатов по шахматной композиции, в том числе и первенств СССР.

Борис Васильевич Правдин страдал бессонницей. И единственным снотворным, которое ему помогало, были шахматные задачи. Удовлетворение от решения очередной было настолько сильным, что он после этого блаженно засыпал. Проблема заключалась в том, что Правдин не был сильным шахматистом. Поэтому надо было сочинить для него такую задачу, которая оказалась бы ему по силам. В противном случае «старик» была бы гарантирована бессонная ночь. Что в планы Якова Абрамовича никак не входило.

Я даже переделал по этому случаю начальные строки «Евгения Онегина»:

Мой дядя – самых честных правил:

Задачу сам решить не смог,

Решать он Правдина заставил,

И лучше выдумать не мог.

Его пример другим наука,

Но, боже мой, какая скука...

Я понимаю, что я – не Пушкин, и даже не Правдин, но попросить Бориса Васильевича написать самого на себя эпиграмму я как-то не решился. А съязвить хотелось. Я уже тогда был вредный. Прошу еще учесть, что мне в то время было лет девять-десять и что я никогда в жизни, ни до, ни после, всерьез стихи не писал.

Борис Васильевич садился на диван, незамедлительно отправлял в рот мундштук трубки и пускал клубы ароматного дыма. Вскоре появлялись остальные – Борфед (Егоров), Юрмих (Лотман) с Зарой, Рейфман и еще кто-нибудь. Пили чай, чаще всего «с таким и без никому», если только бабушка чего-нибудь не испечет. Борис Васильевич начинал читать стихи. Именно от него я впервые услышал имя Северянина, которого советская власть очень не жаловала как белоэмигранта. Стихи были странные, совсем не похожие на те, которые мы учили в школе. Но музыка их завораживала, хотя читал Борис Васильевич очень просто, без всяких завываний. От Северянина переходили к другим «запрещенным» - Блоку, Брюсову, раннему Маяковскому, Хлебникову, Гумилеву. Здесь я впервые услышал мудрые и скорбные стихи Мандельштама, распевную философию поэзии Марины Цветаевой, «сор» Анны Ахматовой. Эти вечера и разговоры о литературе и жизни во многом определили мою судьбу. Конечно, добрых девять десятых того, что говорилось и читалось было мне совершенно не

понятно. Но и одной десятой, а главное – атмосферы тех вечеров хватило, чтобы многократно усилить мой интерес не только к литературе, но и к познанию окружающей реальности.

Разумеется, у Габовичей не только философствовали и говорили о высоком. Обсуждались и повседневные житейские и университетские проблемы. Юрмих и Зара, например, были людьми в бытовом отношении «не от мира сего». Зара Григорьевна, занимавшаяся поэзией Блока, была к тому времени уже мамой маленького Миши и ждала второго ребенка. Я был очарован ею, и это очарование не прошло до конца ее жизни. Маленького роста, с огромными темными глазами на точеном личике и толстой косой, уложенной в угол на затылке, она, несмотря на материнство, оставляла впечатление девочки-подростка, изумленно взирающего на мир. С Юрмихом их внешне объединяло только одно – рост. Лотмана трудно было отнести к писанным красавцам американского экрана. Маленький, худой, с изрядным еврейским носом, который были призваны скрадывать торчащие в разные стороны, как и пышная шевелюра, рыжие тараканьи усы, пока не открывал рот, он не привлекал внимания. В первый момент, когда он открывал рот, внимание привлекало не то, что он говорил, а как. Юрмих сильно заикался. Кстати, не он один. Заикался Борфед, заикалась, но меньше, Зара, не совсем заиканием, но какой-то затрудненной речью страдал Павел Семенович. Однако через минуту все их логопедические недостатки уходили для меня в небытие – настолько интересно было то, что они говорили.

Для Зары покупка новых чулок вместо разодранных, а там более платья – была задачей, сродни доказательству теоремы Ферма, над которым полтора столетия бились лучшие математики мира. Кончалось тем, что Дина брала Зару за руку и вела в магазин. Причем право и обязанность выбора возлагались на Дину.

Не следует забывать, что в те годы будущие мэтры были в два с лишним раза моложе, чем я сейчас. А посему никогда не обходилось без шуток, анекдотов, игр. Играли в «словягу», «буриме». Сочиняли шуточные эпиграммы. В последнем активное участие принимал и Яков Абрамович – человек, как я уже говорил, чрезвычайно разносторонне одаренный, который во время диванных сидений отшельничал на своими математическими проблемами в задней комнате и выходил, как правило, когда садились за стол. Иногда на стол ставилась и бутылка вина. У этой компании успехом пользовалось сладкое узбекское вино, по поводу которого Яков сочинил такое двустишие:

Среди гостей раздался стон:  
Кончается «Узбекистон»!

Другое его стихотворение было написано в честь дня рождения Зары:

Друзья, я сегодня в ударе!  
Сегодня я – герцог и принц.  
Стихи посвящаю я Заре,  
Прекрасной Заре Минц.

В один из таких вечеров у Габовичей Юрмих совершил мелкую пакость: в квартире только что сделали ремонт. Она сияла чистотой и девственностью обоев и краски. Юрмих, встав из-за стола, удалился, простите, в уборную (гении – тоже люди, а изысканное французское слово «туалет» к подобным заведениям применялось еще крайне редко в интеллигентном обществе) и подозрительно надолго в ней застрял. Вышел он оттуда, довольно похмыкивая. Следующий посетитель этого заведения выскочил оттуда, забыв, зачем он туда отправился, и позвал всех. На стене, на которую неизбежно был обращен взгляд садящегося на стульчак, красовалась шаржированная физиономия самого Юрмиха со свисающими усами, нарисованная чем-то несмывающимся.

- Вот, - торжественно заявил художник (а Юрмих действительно обладал совершенно явственными способностями к изобразительному искусству и часто, как Пушкин, рисовал на полях своих рукописей), - теперь я и здесь буду на вас смотреть.

Как я понимаю с высоты теперешнего жизненного опыта, слова его адресовались в основном Дине, в которую он, по мнению тех, с кем я многие годы спустя на эту тему говорил, был влюблен. Тогда я этого понять, разумеется, не мог. И роман, если он и был, скорее всего, ничем серьезным не завершился, потому что Дина вскоре тяжело и надолго заболела циррозом печени. Впрочем, чего не знаю, того не знаю.

На самом деле, над головой этой веселой компании все время висел дамоклов меч действительности тех лет. И тут надо сказать добрые слова в адрес тогдашнего ректора Тартуского университета Федора Дмитриевича Клемента.

Федор Клемент – ( в университете по странной случайности и до войны и долгое время после фамилии всех ректоров начинались на «К») был довольно известным ученым-физиком, работал в Ленинграде (это у местных называлось «Был из союзных эстонцев», а сами эстонцы называли их «Естласед»), где эстонцев еще с начала прошлого века было довольно много. Занимался флюоресценцией. Поскольку Сталин местным кадрам не доверял, его вызвали в ЦК ВКП(б) и назначили ректором в Тарту. Ставка была на то, что он быстро превратит университет из эстонского в русский, в том числе и в смысле преподавательских кадров. Но Клемент оказался

человеком на редкость порядочным и принципиальным. Не знаю, какой ценой ему удалось отстоять старую профессию, так он еще и «космополитов» осмелился подобрать. И защищал их от всех посягательств партийных органов и Комитета глубинного бурения (КГБ, который, правда, тогда назывался МГБ).

Нельзя не сказать, что из Прибалтийских республик Сталин, да и его преемники, пытались сделать такую красивую вывеску «СССР» для Запада, поэтому репрессии в Эстонии не идут ни в какое сравнение с тем, что творилось на Украине или в самой России. Народы Западной Украины и Западной Белоруссии пострадали так, как прибалтам и не снилось, хотя теперь эстонские националисты и кричат о «геноциде против эстонского народа». Не было особого геноцида против эстонского народа – был геноцид против всех народов СССР, в первую очередь, русского. Одним из проявлений этого геноцида был и официальный антисемитизм, подававшийся под маркой борьбы с космополитизмом. Но каждому, как говорится, своя боль больнее.

Трудно сказать, обрел ли бы мир гений Лотмана, если бы не давшие ему возможность жить и работать в Тарту Егоров и Клемент. Вечная им за это благодарность.

Обо всех этих людях речь еще впереди.

Собиралось у Габовичей и другое общество – друзья и коллеги Якова Абрамовича. Нередко поводом для этого был бридж. Приходил ученик Якова Юло Каазик, будущий профессор Выханду, одна из лучших эстонских шахматисток за всю шахматную историю Эстонии Маая Раннику. Здесь уже разговоры были совсем другие и еще менее для меня понятные. Но, как ни странно, анекдоты звучали из того же ряда, хотя публика была чисто эстонская. И рассказывали их, как правило, по-русски. Счастье, что тогда еще не было современной подслушивающей аппаратуры, а среди гостей не оказалось ни одного стукача.

В 1958 году я приехал в Тарту сразу после сдачи выпускных экзаменов. Яков Абрамович, работавший тогда уже в сельскохозяйственной академии (из университета его выдавили), давал уроки одному пареньку, собиравшемуся поступать в академию. Поскольку мама очень сомневалась в моем математическом будущем (и, как показала жизнь, не напрасно), она попросила Якова Абрамовича проверить мои математические способности. Он предложил мне участвовать в занятиях с Олегом Вайзером. Все познается в сравнении. Очевидно поэтому, когда мама перед вступительными экзаменами позвонила Якову, он сказал, что я вполне пригоден для занятий математикой.

В том году отменили поступление без экзаменов для медалистов средней школы. Они должны были сдавать профилирующий предмет. Отчасти этим

объясняется наше прохладное отношение к стабильному овладению знаниями в последнем классе. Я, например, загулялся до того, что мне за прогулы снизили оценку за поведение в третьей, предпоследней четверти. Это теперь по поведению «отлично» значит отлично, а «хорошо» - хорошо. Тогда четверка по поведению означала крайнюю степень хулиганства, а уж «тройка» - просто немыслимую. Я получил это удовольствие и за то, что не утруждал себя посещением уроков, а когда утруждал, то обрушивал на голову учителей поток вопросов, не всегда умных, но изничтожавших вчистую «правильную» методику ведения урока и сводивших на нет все усилия по подготовке планов уроков, конспектов, методических пособий и пр. Это было страшнее драк, битья стекол и тому подобного. Самое страшное было то, что провал на выпускном экзамене можно было исправить, пересдав его осенью, а вот с пониженной оценкой по поведению и к экзаменам не допускали. Поэтому я был крайне изумлен, когда меня после очередных прогулов поймала классная руководительница и спросила, думаю ли я вообще сдавать экзамены? Я, как и полагается, ответил вопросом на вопрос: в разве меня допустят?

Только идиотской процентомании я обязан тем, что мне в четвертой четверти поставили за поведение «отлично» и к экзаменам допустили. Я сдал их без «троек».

На 25 мест на отделении математики естественно-математического факультета претендовали 63 человека, в том числе 18 медалистов. Мои шансы были близки к нулю. Но, как говаривал товарищ Сталин товарищу Берия: «Попытка ведь еще не пытка? Правда, Лаврентий Павлович?»

Первым была математика письменная. Задачи нам дали необычные. Знаний для их решения было явно мало. Нужны были еще сообразительность и умение логически мыслить. Зазубренные формулы помочь не могли. Но у меня и их запас был крайне мал. Моя задача усложнялась еще и тем, что обучение на математике было только на эстонском языке, и экзамены надо было сдавать по-эстонски. За исключением сочинения, которое мне, как выпускнику русской школы разрешили писать по-русски. Я писал его вместе с русскими филологами.

Это были самые трудные четыре часа за всю мою предшествующую жизнь. Но что-то мне все-таки удалось сделать. Через два дня вывесили результаты. Я подходил к доске в фойе главного здания уверенный в том, что следующей точкой будет приемная комиссия, в которой я буду забирать документы. И к изумлению увидел против своей фамилии оценку «четыре». А вот против фамилий всех 18 медалистов стояло одно и то же: «два».

К математике устной нас осталось 27 человек на 25 мест. После устной математики – 23 человека. Теперь можно было не беспокоиться – если будет малейшая возможность поставить нам удовлетворительную оценку, нам ее поставят. По математике устной я тоже получил «четверку», английский и сочинение сдал вполне прилично. Так что после 20 августа мой статус изменился – я стал студентом.

В те времена учебный год у студента редко начинался первого сентября. Как правило, сразу за торжественным актом следовала отправка в колхоз – на уборку картошки. Не избежал этого и наш курс. С одной стороны, это было даже хорошо – давало возможность познакомиться поближе, понять, кто чего стоит. За исключением математических способностей.

Нас направили в колхоз имени Булганина Пылваского района. Конец пятидесятых годов отнюдь не был периодом процветания колхозного строя в Эстонии. Однако и той нищеты, которую я увидел годы спустя в российских колхозах, не было. Разместили нас на одном из хуторов. Спали на сеновале, что было весьма романтично. От этой романтики пошли и первые студенческие романы. Тем более, что кормили нас отменно – не столько в смысле разносолов, сколько количественно. Правда, работа была не из легких. Мы возили и подавали снопы в молотилку. Я выбрал уже «привычную» работу ездового, сам удивляясь, как происшествие двухлетней давности в совхозе имени А.Соммерлинга не отбило у меня всякую охоту якшаться с лошадьми. Я подъезжал на телеге к нашей гоп-компании, которая в пять-шесть вил подавала снопы на телегу. Тут моя задача была укладывать, чтобы поместилось как можно больше. Затем надо было перетянуть загруженный воз слегой с веревкой, взгромоздиться на него и ехать километра два до молотилки. С одной стороны, лежать на мягком возу, на верхотуре и обзирать окрестности было очень приятно. С другой, на неровной проселочной дороге ты все время рисковал скатиться с покатога воза на любом ухабе. А еще надо было следить, чтобы кобыла шла куда надо, потому что стоило хоть на момент ослабить вожжи, как она норовила свернуть в поле или на луг, и никакое возмущение ее несознательным отношением к труду на благо социалистической родины на нее не влияло. Приходилось слезать, брать ее под уздцы, выводить на дорогу и стараться уже не отвлекаться на красоты и свои мысли.

При подъезде к молотилке начиналась работа. Надо было подавать снопы наверх, к заглатывающему их жерлу. Пока воз был высокий, это особого труда не составляло. Хотя темп приходилось выдерживать, на мой тогдашний взгляд, чудовищный. Но воз становился все ниже, а жерло словно поднималось в небеса, и к концу ты ощущал себя плохо отжатой половой тряпкой. Выгрузив воз, нужно было загрузить его мешками с зерном и отвезти в амбар. После этого наступало самое приятное – порожний рейс на поле, за снопами.

Не могу сказать, что был совсем не привычен к физическому труду. Но такую нагрузку я ощутил впервые. И с благодарностью вспомнил своего тренера Бориса Сюллусте, гонявшего нас на тренировках до седьмого пота.

А вечером мы, оставив лежать нескольких совсем уж немощных, отправлялись в сельский клуб. Там играл пожилой аккордеонист. Репертуар его составляли вальсы, польки и душещипательные танго тридцатых годов. Откуда у нас брались силы, не знаю, но мы все четыре часа танцевали без перерывов. Однажды местные «завели» нас на конкурс – кто дольше протанцует вальс. Я этот конкурс запомнил на всю жизнь – 45 минут беспрерывных вращений.

Не могу сказать, что мы за этот месяц очень тесно сдружились. Кроме того, что эстонцы – а на курсе я один не относился к этой национальной категории – очень туго идут на сближение, а уж в душу, в отличие от русского человека, не пускают почти никогда, народ на курсе подобрался очень пестрый. Как ни странно, но очень много было сельских. Похоже, что сельские школы давали подготовку не хуже, а может и лучше многих городских. Но круг интересов очень уж различался. Однако, в Тарту мы вернулись уже не как чужие.

Куратором нашего курса стал доцент кафедры математического анализа Тамме. Мне он запомнился главным образом тем, что когда при доказательстве теоремы, которое он писал на доске, у него возникали какие-нибудь затруднения, он начинал чесать одной рукой затылок, а другой зад. Потом менял руки. И еще он брызгал слюной. Из-за чего было мало желающих сидеть за первыми столами. Я встречал в жизни только одного человека, который брызгал слюной больше, чем Тамме, причем и в переносном смысле тоже. Это коллега-журналист Борис Тух.

Аналитическую геометрию вел небольшого роста, щеголеватый Юри Лумисте, впоследствии профессор, а тогда совсем еще молодой ученый. Практикум по математическому анализу, который читал Тамме, вел Харри Эспенберг. Лео Выханду преподавал самый загадочный для меня по сию пору предмет – начертательную геометрию. Я до конца своего математического образования все эпюры добросовестно перекалывал у наших девочек. Зато алгебру читал сам профессор Гуннар Кангро – автор единственного тогда на эстонском языке учебника высшей алгебры. Кангро относился к еще довоенной профессуре, спасенной от отставки ректором Клементом. Это был образец корректности, выдержанности, вежливости. Потом я встретился еще с одним таким же «обломком прошлого» - преподавателем латыни и античной литературы, продеканом во время моей учебы на филфаке Рихардом Михкелевичем Клейсом.

Наши занятия проходили в химкорпусе, в аудитории на первом этаже, сразу же у входных дверей. Согласно советским традициям, если у здания шесть двухстворчатых дверей, то закрыты пять с половиной, и все вынуждены протискиваться в одну единственную половинку. В химкорпусе была только одна двухстворчатая дверь. А потому закрытой всегда была лишь одна ее половина, и потому в дверь два человека разом протиснуться никак не могли. И вот, однажды, мы сидели в аудитории, ожидая профессора Кангро, который никогда не опаздывал. А его все не было. Согласно неписанным университетским законам существовала академическая четверть. Это означало, что опоздание меньше чем в пятнадцать минут в вину никому не ставилось, будь то студент или профессор. Но Кангро не было и через пятнадцать минут. Мы стали потихоньку вываливать из аудитории и увидели потрясающую картину: профессор Кангро и профессор астрономии Яксоо стояли у открытой створки двери и вежливо пропускали друг друга. Никто не хотел быть невежливее другого, а посему их препирательство продолжалось, как мы поняли, уже довольно долго. Наконец, они попытались протиснуться оба вместе. И несмотря на то, что Кангро был довольно худой, им это удалось только ценой огромных усилий. Оценив по достоинству своего профессора, мы вернулись в аудиторию, хотя по закону академической четверти вполне могли этого не делать.

Пожалуй, более тесные отношения, чем с моим, сложились у меня со вторым курсом, на котором учился Женя.

Вообще, Женя старше меня на три года. Но у него и в школе были неприятности – он кинул в соученика тряпкой, а попал в портрет не то Сталина, не то Ленина, за что был исключен из школы и с трудом спустя некоторое время восстановлен. Потом он решил поступать по республиканской путевке в Ленинградский университет. Были тогда у всех союзных республик бронированные места в центральных вузах страны. Для подготовки национальных кадров. Были они у Эстонии и в ЛГУ. Но этот вуз славился редкостным даже для того времени антисемитизмом, и признавать эстонским национальным кадром Евгения Яковлевича Габовича там явно не желали. «Республиканцу» достаточно было сдать экзамены на тройки – он шел вне общего конкурса. С письменной математикой Женя справился так, что было не придаться. Зато на устной экзаменационная комиссия отыгралась. Когда возмущенный Женя заявил, что то, что его спрашивают, не входит в школьную программу, получил лаконичный и исчерпывающий ответ: «Идите жаловаться!». И это не помогло. Приходилось возвращаться в Тарту, не солоно хлебавши. Чтобы не терять год совсем впустую, Женя блестяще сдал вступительные экзамены на готовившее инженеров-механиков отделение Эстонской сельхозакадемии, где проучился первый курс. Чему он там научился, не знаю, но познакомился с очень симпатичными ребятами, с которыми

продолжал дружбу и после поступления в университет. Об этом речь еще впереди.

На Женином университетском курсе то ли народ был пораскованнее, чем на моем, то ли он уже просто обжился в новых условиях. Именно с эти курсом я в ноябре отправился в поход. Заводилой туристического досуга был обожавший такого рода авантюры Женя. Мы доехали до Эльвы, а оттуда отправились к озеру Выртсъярв – второму по величине в Эстонии после Чудского. Из него вытекает крупнейшая река Эстонии Эмайыги (Мать-река), соединяющая эти озера.

Конец ноября в Эстонии – не лучшее время для прогулок. Днем лили дожди, а по ночам заметно подмораживало. Первый день мы шли довольно энергично. Но к вечеру стали выдыхаться. Начали ставить палатки.. Слишком резво разводя с Женей опорные колья, мы перетянули полотно, и оно, оказавшись весьма гнилым, лопнуло ровно посредине. Женя наскоро зашил его крупными стежками, но добиться герметичности шва ему, конечно же не удалось. В результате всю ночь мне капало на нос. Но до ночи было еще далеко, хотя уже давно стемнело. Пока готовился ужино-обед, меня с одной девицей отправили на ближайший хутор за молоком. Где он, этот хутор, не знал никто. Поскольку было известно, что в сей местности водится всякая живность, в том числе и не очень безобидная, я отдал котелок для молока девице, а сам зажал в руке маленький топорик, и мы отправились куда глаза глядят, вздрагивая от каждого шороха в лесу. Хотя я, разумеется, старался в присутствии юной дамы не показывать вида. Как ни странно, мы действительно вышли к хутору, и даже купили там молока. Хутор стоял на берегу небольшого озера, уже подернутого коркой тонкого льда. Хозяева нас встретили радушно, даже накормили и напоили чаем. Что оказалось очень кстати. А потом мы с полным котелком молока отправились обратно. Мы дошли и даже донесли молоко, правда, полкотелка там было сосновых иголок.

К нашему возвращению ужин был уже готов – большой котелок с кашей снят с костра и поставлен в сторонку для раздачи. Народ рванул за кашей. В темноте было не очень ясно, где стоит котел, и кто-то влез в него ботинком. Естественно, котел опрокинулся. Кашу собирали с хвои. Потом выяснилось, что Женя вместо сахара положил в кисель соль. Но мне было уже все равно. Хотелось только спать. Да и поели мы на хуторе плотно. Тут выяснилось, что одного спального мешка не хватает. Стали бросать жребий, кто будет спать в одном мешке вдвоем. Конечно, выпало мне. Я не очень огорчился, потому что моей напарницей оказалась самая красивая девочка с Жениного курса, гимнастка-перворазрядница. Вполне удовлетворенный и еще не знающий, что меня ждет, я попросил Женю, остававшегося на два часа дежурить у костра, просушить мои ботинки и полез в спальник. Моя спутница повернулась из целомудренности ко мне спиной, и я затынул «молнию».

Мужчины! Представьте себя в семнадцать лет прижатыми к юному теплому женскому телу. Но, увы, ничему не суждено было сбыться! Ведь спальный мешок был рассчитан на одного. Как я его затянул, не знаю, но, очутившись внутри, я даже пальцем шевелил с трудом. Мы были стиснуты, как селедки в бочке. Понятное дело, от холостого напряжения я долго не мог заснуть, а когда заснул, началось еще более страшное – тело стало затекать, а повернуться на другой бок или на спину не было никакой возможности. Моя соседка тоже проснулась – я это чувствовал, но не видел. Выхода не было. Я стал звать на помощь более благополучного соседа, спавшего в персональном спальнике. Он расстегнул «молнию», и мы смогли повернуться. Но спать 30 ноября с расстегнутой молнией тоже удовольствие ниже среднего. Минут через десять, когда у нас начали кляцать зубы, я опять разбудил его и попросил застегнуть замок. Бедняга, я будил его через каждые полчаса. В общем, ночь оказалась еще та, и удовольствие я получил весьма сомнительное. Полагаю, что и моя соспальница тоже. Утром мы вылезли из мешка отнюдь не в лучшем состоянии, и тут меня ждал очередной сюрприз: Женя, чтобы просушить мои ботинки надел их на колья, которые воткнул в землю около костра. Увы, слишком близко! Ботинки скукожились и категорически отказывались лезть на ноги. Пока готовился завтрак, я первый и последний раз в жизни делал массаж ботинкам, отчаянно пытаюсь привести их в годное для носки состояние. И мне это удалось. Правда, ноги в них испытывали примерно то же, что испытывал я весь прошлой ночью. Кроме ее первых минут, рождавших надежды.

После завтрака – в путь. Мы пошли той же дорогой, которой я вечером ходил за молоком, и вышли к тому же хутору. И тут Юхану Киви, отличавшемуся редким для эстонца темпераментом и долго не дававшему спать остальным прошлой ночью – он громким голосом рассказывал анекдоты и сам восторгался рассказанным: из соседней с нашей палатки то и дело доносился его рев: «Йыле мару!», что в переводе означает: «Вот, здорово!» - пришла в голову замечательная идея: покататься на лодке по полузамерзшему озеру. Хозяин хутора лодку дал, но причуде нашей подивился. Меня перспектива дальнего плавания не прельщала, а посему я и еще двое предпочли дожидаться остальных в доме. Пятеро смелых трудностей не убоились. И, как показало ближайшее будущее, напрасно. Пока мы пили чай со смородиновым вареньем, они догребли до кромки льда. Юхан решил, что он на ледоколе, и смело протаранил хрупкую пластину. Она поддалась. Но когда с двух сторон лодки лед, то грести невозможно. Оставалось отталкиваться ото льда веслами. При первой же попытке одно из весел выскользнуло из рук и укатилось по льду в сторону. Вторым веслом его было не подцепить. Веса тела лед не выдерживал. Впрочем, выбора вскоре не осталось совсем, потому что далеко на льду оказалось и второе весло. «Другой альтернативы», как говаривал один из

высших руководителей СССР, у отважных озероплавателей не осталось – они принялись орать во весь голос. Вот тут-то пригодился зычный, хотя и высокий по тембру голос Юхана. Его пронзительные крики пробились через наш разговор с хозяином. Мы выскочили к озеру. После небольшого совещания было принято решение попросить спасательную шлюпку на соседнем хуторе, до которого было по берегу километра два. План был исполнен в точности. Спустя примерно час потерпевшие кораблекрушение были взяты на буксир и доставлены к берегу. Хозяин лишился весел, но он очень добродушно заявил, что до лета все равно лодка ему не нужна, а когда лед растает, весла он из воды выловит. У нас в запасе на второй вечер оставались несколько бутылок водки. Две мы отдали хозяину в компенсацию причиненного ущерба, в которое входили и необходимость растирания той же водкой пятерых смельчаков, и отпаивание их горячим чаем с вареньем.

Понятное дело, ни к какому Выртсъярву мы дальше не пошли, а повернули обратно. Зато разговоров об этом походе хватило потом на месяцы. Но Юхану вожжа под хвост попала. Он решил стать путешественником, и весной, во время похода по Кольскому полуострову, завершившегося в Мурманске, вдруг нанялся юнгой на пароход, отправлявшийся по Северному морскому пути во Владивосток. И встретились мы с ним только через много лет, когда он, как и я, стал журналистом. Учитывая наш «богатый» опыт в области туризма, а особенно, Женино умение натягивать палатку, весной нас неожиданно включили во вторую сборную университета по ориентированию. Соревнования проходили около Эльвы, где мы все окрестные леса с детства знали, как свои пять пальцев. Поэтому не особенно заглядывая в кроки, которые нам выдали под расписку (карты такого масштаба были строго секретными и получить их организаторам соревнований удалось только после долгих хождений в КГБ), мы довольно быстро нашли все контрольные пункты. И, хотя бегуны мы были еще те, заняли третье место. А палатку нам удалось поставить быстрее всех. И в сумме туристского двоеборья мы стали серебряными призерами. Чему больше всего удивились мы сами.

Учеба входила в рутинную колею. Не могу сказать, чтобы она проходила для меня очень успешно. Мне явно не хватало умения логично мыслить, не хватало усидчивости, которой требует математика. Нельзя забывать и то, что семнадцатилетний мальчишка вырвался на волю, хотя и не из-под очень строгой, но все-таки опеки взрослых. Дина, конечно, пыталась на меня воздействовать. Но не весьма результативно.

Легко мне давались только два предмета: физкультура и военное дело. студент мог выбирать – заниматься ли общеукрепляющей физкультурой или записаться в какую-нибудь спортивную секцию. Разумеется, я

вернулся к занятиям классической борьбой. Теперь она, кажется, снова называется греко-римской. Тренировки проходили три раза в неделю по два-три часа. Но была одна беда – мой вес. Я дотягивал тогда как раз до наилегчайшего – до 49 килограммов. При том, что за лето поступления в университет вытянулся со 160 до 170 сантиметров. Борцов моего веса в университете больше не было. Не было их и в сельхозакадемии, ребята из которой тренировались вместе с нами. А кому интересно тренироваться с партнером меньшего веса! Иногда тренер вменял это кому-то в обязанность. Но чаще всего мне приходилось оттачивать технику на кукле. Это был набитый опилками манекен, весивший 80 килограммов. На нем я отрабатывал суплесы и полусуплесы, броски через бедро и контрприемы, нельсоны и полунельсоны, обратный пояс и прочие премудрости. Что было с манекеном никак не отработать, – это работу в партере – его «руки», набитые опилками, никак не желали удерживать в этой позиции массивный корпус. Зато три часа ворочания тяжелого мешка укрепляли мышцы.

Нам предстояли первенство вузов Прибалтики, матчевая встреча с финскими борцами из рабочего спортивного союза Финляндии, а затем и первенство республики. До этого, для определения состава команды, было проведено первенство университета. Оно стало для меня триумфальным. Никто не осмелился выйти против меня на ковер, хотя судья троекратно к этому призывал. После трехминутного топтания на краю мата я был приглашен на его середину, где судья торжественно провозгласил, что первый чемпион университета определен, и поднял мою руку. (Я ведь говорил, что в моем весе ни одного борца, а, может, и вообще парня, в университете не было).

К следующим соревнованиям я вырос еще на три сантиметра и значительно прибавил в весе. Перед первенством вузов Прибалтики я перешел уже в категорию до 52 килограммов, а на самом деле весил все 55-56. Долгое время решалось, может быть мне выступать в категории до 57 кг. Но тренер решил в этом весе все-таки выставить другого, а мне поручил согнать 4 кг. На это мне отводились четыре дня. Их я провел в бане. За казенный счет мне выделялись в день по бутылке клюквенного сока и полкилограмма меда. Этим пищевой рацион строго ограничивался. С утра я по шесть часов сидел в парилке, все время обтираясь сухими полотенцами. Никаких душей, никакого мытья. Представляю, какое от меня исходило амбрэ.

Соревнования начинались в 11 часов. С 9 до 10 шло взвешивание. Я с трудом добрался до спортивного корпуса университета, поднялся на второй этаж, где стояли весы. Оказалось двести граммов лишних. Меня тут же спустили под конвоем в подвал, в кочегарку, надели шубу и шапку-ушанку и посадили у открытой топки котла. Так я сидел, обливаясь потом, полчаса. После этого уже под руки отвели меня на весы. Сам я ходить не

мог – ноги не несли. Час двадцать минут, остававшиеся до начала соревнований я провел в неподвижности и блаженной истоме. К моменту, когда меня вызвали на ковер, я уже, вроде бы, чувствовал себя вполне сносно. Судьба свела меня с товарищем по команде Толей Сивенковым, который учился на медицинском. Толя впоследствии работал начальником отдела кадров Минздрава ЭССР. Он тоже сгонял вес, и, как оказалось, был в аналогичном состоянии. Короче говоря, как только судья дал свисток, мы устремились друг к другу и крепко обнялись, поняв, что в одиночку нам на ногах не устоять. Резкие движения были противопоказаны нам обоим. Поэтому мы просто замерли. Не только у публики, но и судей это вызвало недоумение. Через минуту нам дали по первому предупреждению за пассивность и развели. Но как только судья убрал руки, статус-кво был восстановлен. Мы опять сжимали друг друга в объятьях. И получили, разумеется, по второму предупреждению. Третье означало дисквалификацию. Поэтому Толя собрал все свое мужество и потянул меня, как я потом понял, на полный суплес (суплес – это бросок через грудь, когда ты вытягиваешь противника на себя, отрывая его ноги от земли, сам уходя на полумост, затем, не касаясь головой ковра, переворачиваешься через бок, так что противник оказывается внизу, и укладываешь его на лопатки. Суплес считается одним из самых трудных, но и эффективных приемов). Но, выводя из равновесия меня, он потерял его и сам. В результате он не смог сделать переворот и просто опрокинулся на спину, а я упал на него, придавив его своей массой сверху. В результате я заработал чистую победу. Чем дальше к вечеру, тем больше я приходил в себя, и эта победа оказалась не последней. Но те уже были заработаны честно.

Завершая тему университетского спорта, расскажу еще об одних памятных для меня соревнованиях – первенстве республики, которое проходило в Пайде. В первом же круге жребий свел меня с довольно сильным противником, которому я, по всем расчетам, должен был проиграть. Сознавая это, я все-таки решил выложиться – терять было нечего. Но мастерство есть мастерство. На второй минуте я попался на прием этого парня из районного центра Хаапсалу и оказался на мосту (для невежд в борьбе, к коим относится львиная доля населения земного шара: мост – это положение, когда ты обращен спиной к ковра, опираешься на него головой и ногами, выгнув спину дугой). Долго в таком положении удержаться трудно, надо уходить с моста. Но как? Противник явно не желал позволить мне сделать это, все время пытался дожать меня. Но, как мне не удавалось уйти, так ему не удавалось дожать. В любой момент мог прозвучать свисток, после которого борьба продолжалась бы уже в стойке. Поэтому он решил прибегнуть к экстраординарным мерам – стал меня щекотать. Я ужасно боялся щекотки, а потому стал дурным голосом хохотать, и у меня схватило судорогой шею. Щекотал меня соперник очень ловко, судья никак не мог понять, в чем дело. Я же теперь вообще лишен был

возможности совершать какие-либо движения и думал только о боли от судороги. Наконец, судья заметил движение пальцев хаапсалусца и дал свисток. Я рухнул на бок в изнеможении и стал массировать шею. Соперника дисквалифицировали, и это была вторая и последняя спортивная победа, которую я не заслужил ничем.

Мои спортивные достижения вскоре получили совершенно неожиданное продолжение. У Юрия Михайловича Лотмана к тому времени росли два сына – Миша и Гриша. Оба отличались крайним отвращением к любым явлениям физической культуры. Однако среди окрестных мальчишек – а Лотманы жили в это время на бульваре Лоотусе, на первом этаже весьма дряхлого деревянного дома, вполне естественно, царил культ силы. Что поставило Юрмиха перед дилеммой: либо разбираться в причинах фонарей под глазами – а на это он был совершенно не способен, либо довести своих сыновей до состояния способности дать сдачи. Вот в этом-то он и возуповал на меня. Мне даже была назначена плата за мои занятия – 100 рублей в месяц. Для сравнения: моя стипендия составляла 380 рублей. Так что, приварок обещал быть весьма ощутимым. Я выдержал несколько месяцев – учил Мишу и Гришу скакать через скакалку, бросать мяч дальше одного метра, пробегать хотя бы метров десять без остановки, делать разминку. Потом стал потихоньку осваивать с ними простейшие приемы борьбы и средства защиты от них. Наши занятия прервались с окончанием учебного года. Выдающимися спортсменами мои воспитанники не стали, впрочем, как и их наставник. Но, может быть, Миша, ныне уже профессор, произвел и выдерживает свое многочисленное потомство благодаря, в том числе, и первой своей спортивной закалке.

Учебный год закончился для меня не ахти. Два экзамена предстояло сдавать осенью.

А пока, чтобы мы на каникулах не очень разленились, нас добровольно-принудительно через комитет комсомола направили на Всесоюзную ударную стройку – Прибалтийскую ГРЭС в Нарву.

## **НАРВА**

Нарва конца 50-х годов была явлением для Эстонии весьма неординарным. Начиная с населения.

На долю Нарвы выпал удел становиться местом ожесточенных битв. Здесь Петр 1 в самом начале XVIII потерпел сокрушительное поражение от шведов. Сюда он вернулся после Полтавы, чтобы на этот раз все-таки взять штурмом строптивый город, закрывавший путь к завоеванию Прибалтики.

Остатки неумолимо надзирающих друг за другом Ивангородской и Нарвской крепостей, разделенных лишь неширокой Наровой, стоят красноречивыми свидетелями той эпохи передела жизненного пространства. Изображенные на пятикрановой купюре, они стали причиной дипломатического демарша России, указавшей на недопустимость изображения российской территории на эстонских банкнотах.

Многие годы мы знали, что в боях с кайзеровскими войсками под Нарвой и Псковом родилась регулярная Красная армия. Сравнительно недавно мне довелось прочитать подлинную историю этого «великого сражения» 23 февраля 1918 года. Но для этого надо чуть вернуться назад во времени - к истории октябрьского переворота в Эстонии. Февральская революция здесь, как и по всей Российской империи была встречена на «ура». С ней совершенно явственно связывались надежды на то, что крах империи позволит Эстонии стать из губернии государством.

Первый период национального пробуждения начался в Эстонии в середине XIX века, когда появилась эстонская интеллигенция. Ранняя, по сравнению с остальной частью империи, отмена крепостного права (в 1819 году), дала мощный толчок развитию и экономики, и культуры Прибалтийского края. Развитие международной торговли, стратегическая важность портов на Балтике и с военной точки зрения привели к быстрому развитию промышленности, особенно судостроения и судоремонта. В конце XIX века был за несколько месяцев построен вагоностроительный завод «Двигатель». Интенсивно развивалось и сельское хозяйство, причем не столько баронские латифундии, сколько хутора. В Нарве возникла гигантская, по тем временам, Кренгольмская мануфактура. Уже к концу века в Эстонии была почти поголовная грамотность. Часть нарождающейся эстонской интеллигенции получила образование за рубежом, но большая часть – в близком Петербурге. В середине позапрошлого века стала выпускаться первая газета на эстонском языке – «Сакала». Все это способствовало пробуждению национального самосознания. И, хотя гнет царской власти ни в какое сравнение не идет с тем, что пришлось пережить эстонскому народу век спустя, все-таки власть эта была чужой.

Однако слишком важна была Прибалтика для крупных соседей, чтобы позволить ей самой распоряжаться своей судьбой. К осени 1917 года комиссар Временного правительства Яан (Иван) Поска вынужден был уступить власть большевикам. Правда, не надолго. Уже в феврале 1918 года, воспользовавшись междуцарствием – немецкие войска в Эстонию еще не вошли, а большевистские уже ушли - собралось некое подобие парламента – Маапаяэв и провозгласило независимую Эстонскую Республику. Но это произошло 24 февраля. А за день до этого произошли весьма позорные события, которые торжественно праздновались все

советские годы, да и сейчас являются официальным праздником Российской Федерации. На самом деле в этот день регулярными немецкими войсками, как теперь выясняется, в этом районе и не пахло. Отряд пьяных балтийских моряков наткнулся непонятно на какое формирование и практически без боя бежал. Предводитель отряда, первый военный народный комиссар советского правительства прапорщик Крыленко драпал с такой силой, что очнулся только в Самаре, и его долго разыскивали. Однако мудрый вождь революции решил, что политически неправильно будет излагать правдивую версию, что спасло жизнь Крыленко – он лишился только поста – и породило легенду о сокрушительной победе красных войск.

Однако независимая Эстонская Республика просуществовала считанные часы. Немцы действительно появились, и вовсе не за тем, чтобы дать свободу эстонскому народу. Но надолго задержаться и им, по известным историческим причинам, не удалось. Вместо них в Эстонии появились войска генерала Юденича. Разумеется, монархист Юденич тоже даже в страшном сне не помышлял о независимой Эстонии. Его высшей целью был разгром большевиков. И в то же время, верный присяге, он продолжал первую мировую войну. Вот почему его войска после неудачного похода на Петроград стали основной силой т.н. эстонской армии во время Освободительной войны. Именно благодаря им красные части, дошедшие уже до Раквере – а это менее ста километров до Таллина (тогда Ревеля), стали откатываться назад. Но в это же время начался из Латвии поход ополчения прибалтийских немцев, решивших помочь фатерлянду. Ополчение именовалось ландесвером. 24 июня 1918 года в бою под Вынну (эстонское название латышского города Цесиса) оно было разбито, что позволило и латышским «сепаратистам» поднять голову. На восточном фронте были тоже достигнуты солидные успехи, поскольку большевистские войска вынуждены были отбивать наступления Колчака, Деникина и прочих. К февралю 1920 года эстонские части даже вышли за пределы бывшей Эстляндской губернии и захватили за рекой Нарвой часть территории, населенной в основном ингерманландцами (ижорскими финнами), а на юго-востоке – Печорский уезд, населенный не только русскими, но и называющейся сейчас народностью сету – причудливой группой, говорящей на смеси южно-эстонского диалекта и псковского говора, православной, но имеющей явные эстонские этнические корни.

В Нарве было свергнуто просуществовавшее несколько месяцев марионеточное правительство Эстляндской трудовой коммуны. 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан первый мирный договор РСФСР с иностранным государством – им стала Эстонская Республика. Советская Россия признала ее, отказалась навеки (очень не долгие) от каких либо территориальных притязаний на эти земли, обязалась выплатить солидные репарации, а взамен получила первое международное признание, принцип

оптации, означавший, что ей выдадут тех, чьими усилиями в основном родилась Эстонская Республика – белогвардейцев Юденича, а также возможность прорыва через Эстонию экономической блокады – товары за рубежом на российские деньги покупали эстонские фирмы, а затем переправляли эти товары в Россию, хорошо при этом наживаясь. Через Эстонию, в частности, утекали картины Эрмитажа и другие раритеты.

Еще в XIX веке в Нарве была построена Кренгольмская мануфактура, работавшая на привозном египетском хлопке. Спрос на ее продукцию – хлопчатобумажные ткани – был огромный, и предприятие бурно развивалось. Уже тогда на него начали завозить ткачих из текстильных районов России. Поэтому к началу XX века население города было национально неоднородным. Однако эстонское население все же доминировало. Пригород Нарвы – Нарва-Йыэсуу – по-эстонски, Усть-Нарва – по-русски или Хунгербург (голодный город) – по-немецки – славился как курорт, благодаря замечательному песчаному пляжу, сосновому бору вдоль моря, но основу его летнего населения составляла петербургская интеллигенция, которая после 20-го года через границу ездить не могла.

С XVIII века Нарва и Ивангород, разделенные рекой, были одним населенным пунктом. Это как раз сохранилось и после образования Эстонской Республики, поскольку Яанилинн, как называли его эстонцы, по Тартускому договору отошел к Эстонии.

С 1920 по 1940 год Нарва развивалась, как и вся Эстония, не очень бурно, но все-таки успешно. Кренгольм работал вовсю. В 40-м ее постигла та же участь, что и остальную Эстонию. В 41-м Нарва уцелела, поскольку все силы Красной армии были брошены на оборону Ленинграда. А вот в 44-м от нее остались рожки да ножки. Дело в том, что немцы создали на рубеже реки Нарва очень сильные укрепления. И весеннее наступление советских войск захлебнулось. И тогда за рекой была выставлена вся артиллерия Эстонского гвардейского стрелкового корпуса, которая полгода молотила по городу, пока оборонявшие Нарву немецкие войска не были вынуждены бежать, поскольку советские части обошли их с юга и оказались уже в районе Тарту, что грозило отрезать Нарвскую группировку от своих навсегда. Когда советские войска вошли в Нарву, там целыми оставались всего несколько зданий и с трудом удалось обнаружить парочку жителей – все остальные бежали от полугодового обстрела.

Секретным решением партийных органов старому населению запрещено было возвращаться в Нарву. Ее стали срочно заселять опять-таки ивановскими ткачихами и разоренными обитателями российского Нечерноземья. Поскольку текстильная промышленность отдает приоритет женской рабочей силе, Нарва стала городом с подавляющим

преобладанием женского населения. Строительство в 1954 году Нарвской ГЭС, законсервированной после создания тепловых электростанция, коренных изменений в демографическую ситуацию не внесло. 15 тысяч ткачих нуждались в мужчинах. Полагаю, что именно это и вынудило принять решение строить мощные сланцевые электростанции именно в Нарве, а не поближе к шахтам – в районе Кохтла-Ярве.

Всесоюзная ударная комсомольская стройка Прибалтийской ГРЭС началась в 1958 году. Когда мы летом 1959 года приехали в Нарву, уже был под крышей главный корпус станции, росли и другие корпуса, был прорыт водоотводный канал от реки до станции. Разместили нас – несколько десятков тартуских студентов - в вагонном городке на полпути от города до ГРЭС. Забросив вещи, – на работу надо было утром следующего дня - мы отправились знакомиться с вечерней Нарвой. Первой точкой знакомства стал ресторан «Балтика». Заняв столик на четверых, мы загнали под него ящик пива и в течение часа-полтора вели неторопливую беседу, комментируя окружающее. Окружающее выглядело непрезентабельно. Я имею в виду посетителей ресторана. Женщин почти не было. А то, что относилось к мужскому полу, было настолько мелко, что я со своими 170 сантиметрами выглядел почти гигантом. Довольно скоро у нас завязалась общая беседа с сопольниками, из которой мы вынесли, что, по техническим причинам, любая особь, носящая брюки (которые тогда не были предметом дамского туалета), вынуждена с малолетства начинать бурную половую жизнь, что и приводит к торможению роста. Не берусь нести ответственность за физиологическую достоверность изложенной нам теории, но открывающаяся нашим глазам практика подтверждала это. Еще более убедительное подтверждение мы получили, когда после ресторана набрали на Темный сад с его танцплощадкой. Там и вовсе сновали какие-то шибздики, которые приглашали девиц, не вынимая папиросы изо рта. И девицы безотказно шли с ними танцевать. Как значится в словаре Даля: «На бесптичье – и жопа соловей».

Естественно, что рослые и свежие студенты оказались нарасхват. Правда, была сделана попытка закрыть нам путь к местным красавицам, но, учитывая, что нас было полтора десятка, до очень активных действий дело не дошло, а через полчаса в нас увидели уже спасителей от непосильной ноши – мы нашли общий язык. Часам к одиннадцати вечера наши ряды начали таять, а затем и совсем растаяли. Но в вагончиках от этого населения не прибавилось. Первые ласточки стали появляться там лишь часам к пяти утра. И явно не в рабочем состоянии.

Надо сказать, что в вагонном городке мы были не одни. Параллельный ряд вагончиков занимали студенты Таллиннского политехнического института, а еще один ряд – ленинградцы из химико-технологического имени

Ленсовета. Они приехали на несколько дней раньше и для них наши приключения были пройденным этапом.

Разумеется, мы в первый же день опоздали на работу – ведь нелегко работать и ночь, и день. Поэтому в обеденный перерыв «старшие» коллеги устроили совещание, на котором объяснили, какой тактики мы должны придерживаться. Мы внесли свою лепту в решение совещания. Поскольку среди нас были студенты-медики, то решено было проводить регулярные профилактические мероприятия. В дальнейшем это выглядело так: возвращающегося утром из города хватали двое дежурных и тащили в штабной вагончик, где с него снимали штаны и дежурный медик вкалывал в задницу дозу пенициллина. При этом вопрос: было не было? не задавался. Априори считалось, что было. И это, как правило, соответствовало истине. Зато широко распространенная в Нарве гоноррея, проще именуемая триппером, не поразила ни одного из нас.

Наибольшим дон-жуаном считался Юри Керем из Политехнического. Ему принадлежало и авторство системы очков, по которым оценивались сексуальные достижения. Не буду вдаваться в ее подробности, но там было несколько очень гуманных пунктов, в частности, за соращение студентки снималась огромная сумма штрафных очков. Не знаю, так ли высоко ценили эту позицию наши девушки, которые таким образом выводились из орбиты нашего внимания, но мы их берегли. В частности, у меня завязался довольно бурный роман с очень миленькой девочкой из химико-технологического, который, по моей вине, так ничем и не завершился.

Юри Керем вообще был личностью довольно интересной. Очень не глупый, но ленивый необыкновенно. А уж я-то знаю, что такое лень. В Нарву он приехал, как и я, с «хвостами», один из которых был по математике. Он завалил ее тезке – доценту Юри Гаршнеку, который, отчаявшись получить от Керема ответ хоть на один вопрос, заявил ему: «У вас в голове пусто, как в пустыне!». На что получил первый верный ответ: «В каждой пустыне есть оазисы, но не каждый верблюд может их найти!». Когда много лет спустя я рассказывал эту историю, мне сказали, что я излагаю старый анекдот. Однако я не уверен, что этот анекдот существовал уже в 1959 году, и подозреваю, что анекдотом это стало именно после Керема.

Как ни странно, но наиболее благопристойно себя вел мой двоюродный братец Женя, унаследовавший от нашего общего деда неограниченную любовь к женскому полу. Именно на него легла основная тяжесть неожиданного визита в наш вагонный городок Елены (Гении) Исааковны Дымшиц, которую мы именовали просто бабушкой. Ей было в ту пору 70 лет, и она решила воспользоваться случаем, чтобы навестить внуков, а

заодно посмотреть и на город своей юности – она жила здесь у своей старшей сестры Фени. Решено – сделано. Она села в поезд и прикатила. Явление бабушки в наш бардак вызвало реакцию, аналогичную изображенной на известной картине Иванова. Бабушка немедленно навела порядок в нашем купе. И волей-неволей – в нашем поведении, во всяком случае, на те несколько дней, что она прогостила. Женя сопровождал ее в вечерних вылазках в город, до которого надо было километра четыре топтать пешком. Мы, как порядочные, уже в двенадцать часов ночи ложились спать, а посему стали чуть ли не передовиками производства.

Работы нам доверяли всякие. Например, смолить крышу главного здания. Закончилось это пожаром, который, правда, был вскоре потушен «без жертв и разрушений». Наших девочек отправили на самую «легкую» работу – бетонировать откосы отводного канала. Нашу группу бросили на выкладывание керамической плиткой пола в помещении главного распределительного щита. Помещение сие окон не имело и освещалось лампочками на временной проводке. Моей задачей, как человека, знакомого со школы с азами электротехники, было обеспечение комфортных условий. Это выражалось в том, что я забирался на один из распределительных шкафов и перебрасывал нулевой провод от лампочки на вторую фазу. Лампочка мгновенно перегорала, и провод возвращался на место. Когда достаточный участок погружался в темноту, наша бригада заваливалась спать после бессонной ночи. Часа через два появлялся дежурный электрик, который заменял перегоревшие лампочки. Тогда начинались работы по укладке метлахской плитки. За неделю мы выложили весь пол. Но тут оказалось, что сварщики неправильно приварили кронштейны для кабелей. Их срезали, и тяжелые металлические кронштейны, падая, побили плитку. Пришлось начинать почти что заново. Сделали. Но беда не приходит одна. Когда пришли электрики-высоковольтники кенотронить кабели (то есть проверять их изоляцию на пробой), выяснилось, что они не могут добраться до концов кабелей, потому что из-за плитки перестали открываться дверцы распределительных шкафов. Пришлось раздолбать не только плитку, но и бетонное основание пола. В общем, к концу нашего пребывания на стройке, мы едва успели в третий раз положить плитку.

Но и на работе мы не были обойдены вниманием местных дам. То и дело заявлялась в нашу щитовую одна из них с приглашением после работы в женское общежитие строителей. Поллитра на человека гарантировались. Такие твердые моральные устои не помешали им закатить скандал по поводу бесстыдства наших девушек. Вынужденные проводить лето на стройплощадке, бедные студентки, особенно работавшие на канале, решили хоть солнышка прихватить, а посему помимо брезентовых рукавиц и резиновых сапог оставляли на себе только купальники. Именно это и

было расценено как чудовищная сексуальная распущенность. В скандал вмешались партком и комитет комсомола. Нам была прочитана лекция о том, что надо щадить скромность и застенчивость местного женского населения. Пришлось девушкам расстаться с мечтой о загаре.

В общем, два месяца пролетели, как во сне. И не только потому, что именно сна нам больше всего и не хватало. Новая обстановка, новое занятие, другая жизнь. Именно здесь у меня созрело понимание того, что математика – не то дело, которым я хочу и могу заниматься всю жизнь.

В Тарту я вернулся с уже принятым решением. Останавливало только нежелание огорчать родных. Я понимал, каким ударом будет для них брошенная мной учеба.

## **СНОВА ТАРТУ**

В те времена учебный год редко начинался тогда, когда праздновалось его начало – 1 сентября. Картошку надо было убирать. Работа это грязная, трудная, платили за нее мало. И перешедший к тому времени первым в СССР на денежную форму оплаты трудодня эстонский колхозник не очень расположен был ею заниматься. На уборку картофеля ездили из городов врачи, учителя, рабочие, инженеры, даже доктора наук. Коим сохранялась на это время средняя заработная плата по основному месту работы. Разумеется, к числу картофельной рабочей силы относились старшекласники и студенты, которым ничего не сохранялось, кроме стипендии. А поскольку к началу учебного года стипендии еще не распределялись, то отказавшийся от добровольных работ студент имел практически нулевые шансы ее получить. Зато, поработав на благо родины, можно было рассчитывать на стипендию даже с тройками. Роль материального стимула понимали уже тогда!

Имея уже некоторый опыт сельскохозяйственных работ, я не испытывал особой тяги горбатиться на борозде (кто же знал, что менее десятка лет спустя я окажусь в роли специалиста сельского хозяйства!). В это время в университете появилась необходимость в рабочей силе иного типа. Во-первых, некому было строить столь необходимое альма матер общежитие – наличной рабочей силы местного стройтреста просто не хватало на весь объем работ по возведению четырехэтажного здания. Во-вторых, в это время был запущен второй советский искусственный спутник Земли, и университетская обсерватория была включена в цепь слежения за спутником. Поэтому из студентов-естественников (в основном математиков и физиков) была сформирована группа, которая днем исполняла роль строителей, а по ночам – астрономов. Женя Габович заделался бетонщиком – вязал сетку на козырьке навеса над главным

входом, а мне досталась роль каменщика. Горб на стене первого этажа со стороны улицы Ванемуйне заметен до сих пор. И я с гордостью показываю гостям, с которыми бываю в Тарту это увековеченное свидетельство эффективности общественно-полезного труда в моем исполнении. Высший надзор над нашими трудами осуществлял сам первый секретарь университетского комитета комсомола Эрик Труувяли – будущий первый канцлер права Эстонской Республики. Полученный мною опыт строительства очень пригодился, когда я оказался на целине, в Казахстане. А мои астрономические занятия позволяют мне и сейчас безошибочно отличать ковш Большой Медведицы от всех других созвездий. И еще я могу проимитировать писк ракеты спутника. Никаких других успехов в области астрономии я не достиг, но смотреть на звездное небо в оптический телескоп было бы очень интересно, если бы только не так хотелось спать.

В конце концов, я решился, и после окончания трудовой повинности явился к декану Анатолию Митту. Маленький толстый доцент, когда я изложил ему свое желание покинуть возглавляемый им факультет, посмотрел на меня с сожалением и спросил: «Вы понимаете, что прощаетесь с высшим образованием?» «Ну, почему же? – самоуверенно возразил я, полагая, что возврат к этой стадии развития всегда возможен. У него опыта было больше – он видел десятки таких, как я. Лишь немногие из них находили потом силы и возможность вернуться в аудитории. К счастью, как показало будущее, я был в числе этих немногих.

Теперь, с расстояния прожитых лет, мне реальная причина ухода из университета кажется иной. Тогда бы я ни за что в этом не признался, но мне просто трудно было учиться. Во-первых, потому что университетская программа требовала не только логического мышления, но и усидчивости. А я привык к безделью в школе. Во-вторых, учиться надо было на эстонском языке (на русском тогда математического отделения еще не было). И при всем моем знании языка это создавало дополнительные трудности. Просматривая свои конспекты тех лет, я обнаружил, что делал по 90 грамматических ошибок на странице математического текста, то есть странице, наполовину заполненной формулами.

В начале октября 1959 года я вернулся в Таллин.

## **ШУМИТ, БУШУЕТ РОДНОЙ ЗАВОД...**

Не хочется вспоминать, что выражали лица мамы и бабушки, когда я приехал домой. Только отчим не сказал мне ни слова, лишь успокаивал маму. Впрочем, так уж между нами повелось, что я не считал его вправе вмешиваться в мою жизнь. И он, во всяком случае, явно, этого не делал. Но

чем-то надо было мне заниматься. И отчим попросил своего близкого друга Саню Кана, работавшего юрисконсультom на заводе «Вольта», подыскать мне работу. Саня все понял правильно. Он не стал подыскивать мне «блатную» работенку. Так я оказался учеником сверловщика в цехе взрывобезопасных машин электротехнического завода «Вольта». Учеником, в полном смысле этого слова, я пробыл три дня.

Мой учитель, некто Пилипенко, за несколько месяцев до этого внес рационализаторское предложение, позволившее значительно ускорить сверление отверстий в щитах (крышках) электродвигателей 3-го габарита, которые мы делали для шахт не только Отечества, но и Индии и многих других стран третьего мира. Два или три месяца рационализатор, по закону, работал по старым расценкам, дабы мог пожать плоды своих умственных усилий. А потом приходил нормировщик. К Пилипенко он пришел за два дня до того, как в цехе появился я. И Пилипенко понял, что теперь он будет зарабатывать даже меньше, чем до внесения своего новаторского предложения. Работник он был не плохой, а потому быстренько договорился с начальником «аристократического» инструментального цеха, который брал его к себе слесарем-инструментальщиком. За три дня Пилипенко показал мне, как включать станки – их было три: вертикально-сверлильный, зенковочный и восьмишпиндельный полуавтомат – как ставить на станок кондуктор с заправленной в него деталью и как затачивать сверла под различный металл. После чего мы без особых сожалений распрощались. Но поскольку ученику самостоятельно работать не полагалось, то еще дня через два я перед цеховой комиссией сдавал экзамен на сверловщика 1 категории. Поскольку экзамен был теоретический, а цеховое руководство было кровно заинтересовано, чтобы я был допущен к работе, то экзамен я, конечно же, сдал. А еще через месяц работал уже со вторым разрядом.

Но руководство цеха меня явно на первых порах недооценило. Вся суть рацпредложения Пилипенко заключалась в том, что он вдвое увеличил скорость вращения сверла на восьмишпиндельном (это значит, что на нем можно было сверлить по восемь дырок сразу) станке. И действительно, отверстия сверлились очень быстро. Но требовалась исключительно точная настройка станка. Стоило сверлу чуть отклониться от центра отверстия в кондукторе, как оно ломалось. Понятно, что без году неделя сверловщик на столь точную настройку способен не был. За неделю я переломал месячную норму сверл. Второй операцией, которую я должен был выполнять, была «глухая», то есть не в сквозном отверстии нарезка резьбы. Эта работа относилась к четвертому разряду. Я и тут проявил поразительную способность забрать на складе за две недели столько мечиков, сколько их нужно было всему цеху на месяц.

Честно скажу, я поначалу очень старался. Но потом начала сказываться моя уже органическая неспособность часами делать одни и те же движения. Это просто угнетало психически. Я начал устраивать долгие перерывы, которые у начальства восторга не вызывали. Больше всего я оживлялся, когда надо было переходить с одного вида деталей на другой. Переналадка станков – это была роскошь разнообразия. Но такое случалось не каждый день. Зарабатывал я кучу денег – если моя стипендия в университете была 280 рублей в месяц, то здесь я «выгонял» даже по 600. Но редко. Вот почему я с удовольствием откликнулся на предложение знакомого мне еще со школьных лет Саши Брудного, уже тогда неплохого электрика, а потом главного механика крупного комбината, перейти в цех нормальных машин электрокарщиком.

О, это была мечта! По табелю о рангах электрокарщик числился подсобным рабочим. Он подвозил на своей тачке с электрической тягой заготовки, увозил на склад готовую продукцию, выполняя еще и функции грузчика. Но зато он ездил по всей территории завода, никто над ним не мог нависнуть контролирующей тушей. Поэтому среди рабочих карщики слыли привилегированным сословием.

Очень быстро я освоил, как замыкать третью контактную группу, чтобы выжать из кары максимально возможную скорость, как сбрасывать этот контакт, чтобы, залихватски развернувшись, затормозить в нескольких миллиметрах от штабеля деталей. Но зато за день надо было погрузить и выгрузить до 5 тонн металла. Да еще успеть несколько раз в течение рабочего дня навестить «обмотку».

Обмоточный участок был чем-то вроде гарема. На самой обмотке – укладывании в пазы ротора и статора пучков свернутой четырехугольником медной проволоки работали одни женщины, точнее молодые женщины, потому что с возрастом эта работа становилась непосильной и из-за физической нагрузки, и из-за психической монотонности.

В это время в самом разгаре было движение «за коммунистический труд». На нашем обмоточном участке работала прославленная бригада коммунистического труда Евдокии Бадиной. Бригада все делала вместе – ела, пила, развлекалась, жила в одном общежитии на улице Эндла, где сейчас гостиница «Михкли». Им, по-моему, и самим это было противно, но ради репутации завода приходилось терпеть. Нам с Сашей Брудным пришла в голову дикая идея: подвергнуть коммунистичность бригады проверке на прочность. Саша принялся обхаживать бригадиршу, а я – ее заместителя, довольно милостивую хохлушку с большими карими глазами - Валю Кий. Вскоре бригада в свободное от работы время оказалась без руководства. Правда, для Саши это чуть не закончилось печально, интеллигентный

еврейский мальчик заявил, что он как порядочный человек, должен жениться на Дусе. К счастью, приближалась осень, Саша собирался поступать в политехнический, и я уговорил его повременить с женитьбой до «после экзаменов». Саша экзамены сдал, в институт поступил, но больше о женитьбе на Дусе Бадиной не заикался. Да и она к тому времени уже не очень на этом настаивала. Потом мне довелось еще дважды спасти Сашу от скороспелых браков. А на третий раз я не успел – был в армии. Саша женился на кореянке, которая была намного старше него. Но, на удивление, брак оказался долгим и прочным.

В это же время я снова сблизился и с другим Сашей – Бибичковым. Отца его отправили куда-то руководить стройкой, а Саша остался в Таллине и устроился на работу в трест «Севзапэлектромонтаж» рабочим. Поскольку жилье родители сдали (и отнюдь не в наем), то жил Саша в общежитии в старинном и, похоже, с XV века не ремонтировавшемся доме на улице Лай. Очень красивый, жгучий брюнет с карими глазами и черными усами, Саша пользовался необычайным успехом у женского пола, меняя подруг, как перчатки. Что в то время было не совсем рядовым явлением. Я на этом поприще такой прытью не отличался, но энергия и во мне была ключом, требуя применения. Бибичков и привел меня в Калининский райком комсомола ко второму секретарю Гене Гречишкину, который был комсоргом стройки цементного комбината «Пунане Кунда», когда начальником строительства был Михаил Львович Бибичков. Так я стал членом штаба «легкой кавалерии» райкома комсомола. Это образование было предшественником получившего потом широкое распространение «комсомольского прожектора», высвечивавшего всякие отдельные недостатки, сплошь и рядом имевшие место быть. Мы ходили с проверками на разного рода предприятия района. Запомнились три такие проверки.

Первая проходила в цехе Таллинского хлебокомбината на улице Яху. Вытащив там из огромной квашни с тестом дохлую крысу и пару грязных брезентовых рукавиц, я потом долго не мог есть хлеб. Вторую мы проводили на заводе «Тарбеклаас» в Копли (промышленный район на полуострове на севере города). Там из месяца в месяц происходила огромная неестественная убыль готовой посуды – хрустальных рюмок, бокалов, ваз. Пути утечки никак не удавалось установить. На проходной проверяли все сумки и портфели. По периметру ходили дозоры, чтобы ничего не перебрасывали через забор. А хрусталь пропадал. Мы обратили внимание на то, что идущие через проходную женщины мелодично позвякивают. А вскоре раскрылся и секрет – пропадающая продукция надежно укрывалась в женских трусах. В те годы не было стрингов, а были китайские панталоны «Дружба» с резинками чуть повыше колен, ядовитых расцветок и необъятных размеров. Редкие иностранцы при виде их на прилавках советских магазинов удивлялись, как это население страны еще

не перестало размножаться. Зато, как выяснилось, в них прекрасно умещались дюжина рюмок, полдюжины бокалов или две вазы средних размеров. Третья проверка – на чулочной фабрике «Пунане Койт» потом отозвалась очень знакомым, когда я читал Вольтера. Сей великий философ рассказывает, как пираты проверяли захваченных на взятых на бордаж судах женщин на предмет спрятанных драгоценностей. Именно этим древним способом пользовались и работницы чулочной фабрики. Себя они обеспечивали чулками проще: приходили на работу без них, а уходили в чулках. Но надеванное было уже не продать. Поэтому две пары только вошедших тогда моды капроновых чулок сворачивались в плотную трубочку и засовывались в прославленное изделие Баковского резинового завода – единственного, по-видимому, предприятия в СССР, выпускавшего презервативы. А презерватив вставлялся туда, где ему и положено было быть, только не в рабочее время и не с такой «начинкой».

Но, выявляя неполадки на других предприятиях, я не мог обойти вниманием то, на котором работал сам. В частности, довольно скоро я установил, что мой мастер Романов, любит надолго задерживаться в помещении для рубки валов в компании двух-трех рубщиков и такого же количества бутылок. Молодо – зелено. Я сделал начальнику замечание. Наверное, не надо объяснять, куда он меня послал? Но конфликт возник. Кульминации он достиг, когда в одну из суббот я по заданию штаба «легкой кавалерии» надзирал с еще несколькими ребятами за порядком на танцевальном вечере в Клубе железнодорожников. Зал был уже набит битком, и билеты больше не продавались. А за дверями стояла толпа желающих. Приоткрыв входную дверь, чтобы выпустить какую-то покидавшую танцы пару, я увидел своего мастера в состоянии довольно сильного подпития. Он меня тоже увидел и начал протискиваться к двери в расчете на то, что уж своего начальника я пропущу. Но моей принципиальности предела не было. Я его не пустил. И он это не забыл.

Поскольку я к тому времени достиг восемнадцатилетнего возраста и перестал быть студентом, военный комиссариат взял меня на учет, как потенциального будущего солдата. Мне это не очень нравилось, но делать было нечего, или казалось, что нечего. Перед тем, как идти на медкомиссию, Макс, мой отчим, дал мне заглотив две таблетки эфедрина. И комиссия установила у меня гипертоническую болезнь. А установив, направила на лечение. Я должен был дважды в неделю ходить в поликлинику. Что было гораздо приятнее, чем ходить на работу. Как правило, процедуры в поликлинике занимали полчаса - час, а в военкомате освобождение от работы выписывалось на целый день. Но в какой-то момент военкоматское начальство ввело новый порядок: сколько часов пребывания в поликлинике указано в справке от врача, на столько выписывалось и освобождение. Я же после поликлиники, уверенный, что рабочего дня сегодня все равно не будет, не очень спешил в военкомат,

заявившись туда лишь к обеду. А там мне выписали освобождение всего на два часа. Получалось, что я почти полный рабочий день прогулял. Учитывая мою «дружбу» с непосредственным начальником, ничего хорошего мне это не сулило. И тогда я совершил преступление – я исправил на военкоматском освобождении часы пребывания в поликлинике и на завтра сдал его Романову. К концу дня, разбирая документы, он обратил внимание на очень не профессиональное исправление. И разразился скандал. Меня разбирали на заседании цехового профсоюзного комитета. Меня вызывали в завком – заводской комитет профсоюза. Дело было в самом разгаре, когда наступила пора подавать документы в институт - я собрался поступать на технологию машиностроения в Политехнический. Для этого нужна была характеристика с места работы. Лето – время отпусков. В комитете комсомола мне как активному общественнику написали блестящую характеристику. Заместитель секретаря парткома после комсорга подписал ее не глядя, как и главный инженер, замещавший директора. Я сдал документы и был допущен к экзаменам, на коем основании и ушел в законный учебный отпуск.

Отпуск этот мы проводили вместе с Сашей Бибичковым на чердаке нашего дома, где с разрешения хозяйки оборудовали лежбище. Из окон чердака открывался вид на «похабно развалившийся в июле» сад, а еще из них струился нескончаемым потоком дым от наших сигарет «Прима». Саша курил их почти всю жизнь, и даже уже во времена независимой Эстонии звонил из Москвы с просьбой как-нибудь переправить несколько десятков пачек сигарет. Пока шведы не купили Таллинскую табачную фабрику и не закрыли ее, убрав таким образом с рынка конкурента. Занимались мы яростно. Уровень Сашиных знаний был весьма плачевным, а посему мне выпала роль педагога-наставника. Но, объясняя ему, я поневоле повторял материал и сам. И это оказалось плодотворным способом для обоих.

Экзамены мы сдали не то, что блистательно, но с баллом выше проходного. Саша – на ССУ (судовые силовые установки), я – на технологию машиностроения. 20 августа закончились экзамены, а 21 мама работала на сессии Верховного Совета Эстонской ССР. Пришла она поздней ночью и очень расстроенная.

- У тебя все в порядке? – спросила она меня.

Я в недоумении уставился на нее.

- Дело в том, что на сессии выступал ректор института академик Агу Аарна. Он говорил о том, что некоторые предприятия безответственно относятся к выдаче характеристик поступающим в вузы. Так один кандидат в студенты с завода «Вольта» представил блестящую характеристику, а с завода пришло письмо от трудового коллектива и цехового комитета профсоюза, что он плохой работник, прогульщик, фальсификатор и характеристику получил обманным путем.

Наутро я помчался в институт. Предчувствие маму не обмануло. Мне показали даже письмо – за подписью председателя цехового комитета профсоюза и Романова.

- Вы понимаете, что мы не можем вас после этого принять, - сказал мне председатель приемной комиссии.

Я понесся на завод. В комитете комсомола и парткоме я честно рассказал, как было дело. Мне обещали разобраться. Но времени на это уже не было. 22 августа я получил повестку, предписывающую мне 23 августа явиться в военкомат «с кружкой, ложкой, поварешкой». Забегая вперед, скажу, что в конце сентября я получил официальное письмо из института с сообщением, что я зачислен. Когда я показал это письмо командиру части полковнику Мельникову, он ухмыльнулся: «Вот, и хорошо, отслужишь и будешь учиться».

## РАКЕТЧИКИ

На сборный пункт в Хийу, где теперь какие-то склады, родные меня уже не провожали – мы расстались с ними у военкомата. Должен сказать, что я был не особенно огорчен развитием событий. Армия – это было что-то новое, неизведанное, а значит – интересное. Поэтому мамины слезы расставания вызывали у меня не только жалость к ней, но и недоумение: не в тюрьму же? Через некоторое время я понял, что именно в нее. Разве что без позора, а даже с пафосом – священный долг советского гражданина (отсидеть три года за колючей проволокой)!

На сборном пункте мы естественно толклись у забора, уже из неволи глядя на волю. Вдруг я увидел свою одноклассницу Ларису Белицкую – тоненькую, стройную блондинку, которая кого-то высматривала через щель в заборе. Я окликнул ее. И тут выяснилось, что искала она меня. Не долго думая, я махнул через забор. Мы отошли в находившийся совсем рядом Гленовский парк, сели там на траву. У нее с собой была бутылка чего-то и закуска. Часа полтора мы провели в августовском лесу, пахнувшем грибами. На прощанье Лариса меня вдруг поцеловала. Обалделый, я ей, кажется, даже не ответил тем же. Потом мы некоторое время переписывались. Но, глядя, как обрываются переписки моих товарищей со своими даже не девушками, а невестами, я не захотел подвергать себя такому удару и полгода спустя замолчал, понимая, что впереди еще два с половиной года, не сулящих ничего хорошего. Много лет спустя, когда мы собрались классом на 40-ю годовщину нашего выпуска, сильно располневшая, уже бабушка Лариса призналась мне, что не оборви я тогда контакты, вся ее жизнь могла пойти совсем по-другому – она была не просто влюблена, а любила меня. Мне такое тогда и в голову

не приходило, потому что я всегда был окружен своими приятелями – Сашей Бибичковым, Вальдуром Аретом, Георгием Дрездовым – пользовавшимся неизменным успехом у девушек, и среди них я отходил на второй план. Так мне, во всяком случае, казалось. И нарвский опыт в этом отношении мне ничего не прибавил, поскольку там речь о какой-либо конкуренции вообще не шла, а пословицу из словаря Даля я уже приводил.

Переночевали мы на сборном пункте. Утром нас построили, и мимо строя стали похаживать офицеры из частей, которым мы по разнарядке полагались. Отбирали нас почти как рабов на невольничьем рынке. Потом появился офицер из военкомата, который выкрикивал фамилии, мы поочередно выходили из строя, и кто-нибудь из покупателей кричал: «Беру!». Какие части они представляли, мы и понятия не имели. После крика «Беру!» мы отходили туда, куда нам указывали. В нашей группе оказалось человек восемьдесят. Среди них паренек, которого я немного знал по школе – Валерий Набойченко. Мы стали с ним рядом. Группу построили в колонну и повели на вокзал под охраной двух сержантов и ефрейтора. Когда нас вели, я вспомнил такие же колонны немецких военнопленных, которые водили на работу в первые послевоенные годы по нашей улице Теллискиви. С одной стороны, это были фрицы, которых мы били в наших детских играх, а с другой, изможденные люди, лишённые еще и свободы. Правда, их охраняли не очень строго – им некуда было бежать. Они даже выбегали из колонны и заходили в дома, чтобы попросить хлеба. Стучались и в нашу квартиру. Бабушка открывала с чем-нибудь съедобным – что было в доме – в руке. И только один раз она спросила у высокого худого немца: «Ничего, что я – еврейка?» Он мгновенно съезжился, попросил по-немецки прощения и побежал вниз по лестнице. Эти пленные строили дома в Копли, восстанавливали Ленинградское шоссе. И до сих пор там сохранились отлитые ими бетонные плиты.

За нами надзор был куда строже. Из колонны – ни шагу. Было стыдно перед людьми, которые смотрели, как нас ведут. Невольно возникало чувство, что ты совершил что-то очень нехорошее, если тебя ведут под конвоем. И это отнюдь не вызывало гордости за исполнение гражданского долга. Что же это за конституционный долг: ни шагу в сторону!

Тем не менее, во время посадки в вагоны, мы с Валерой сумели оторваться в привокзальную пивнуху, где выпили по кружке, а из магазина по соседству прихватить кое-что в поезд. Эта наша удача и аналогичный «прыжок в сторону» в Ленинграде, где мы оказались на следующее утро, объяснялась, вероятно, тем, что наши «конвоиры» были сельскими парнями, чуть ли не впервые попавшими в большой город, да еще в Прибалтику, где все было не так, как у них, в российской или украинской

глубинке. Он просто не знали местности и местных условий, да и ошарашены были увиденным.

Ехала наша команда в двух отдельных плацкартных вагонах (поскольку это понятие все больше уходит в прошлое, то спешу пояснить, что это вагон, разделенный вертикальными стенками на отсеки. Вдоль стенок в два яруса были жесткие полки и еще одна наверху – для багажа. По другую сторону узенького коридора три такие же полки располагались не поперек хода поезда, а вдоль. В отличие от купейного, никаких дверей, кроме как в тамбур, в вагоне не было. Что облегчало контроль за нами. Никто из «гражданских» в наши вагоны не допускался. Распивать спиртные напитки, естественно, было категорически запрещено. Тем не менее, в каждом отсеке вскоре раздался лязг стаканов. Поскольку сопровождающие офицеры ехали в купейном вагоне, наши стражи оказались и сами не прочь основательно заправиться, тем более задарма. Мы им наливали, не жалея, пытаюсь выпросить хоть что-то о предстоящей службе. Но поскольку мы еще присягу не приняли, то доверять нам государственные тайны, в том числе, и куда мы едем, оказалось категорически запрещено. Зато «конвоиры» с интересом слушали наши рассказы о жизни в Эстонии, а главное, что их интересовало: «А что у вас ребята в рюкзаках?» Сержанты и ефрейтор готовились к дембилю (демобилизации), эта поездка была для них последней в военной форме. А мы, предупрежденные ими, что все шмотье у нас все равно заберут, а через три года от него останется одна поеденная молью труха, щедро раздавали им майки, кальсоны, носки, шарфы и прочее, чем набили наши баулы, чемоданы и рюкзаки сердобольные родители.

Поезд из Таллинна в то время прибывал в Питере на Московский вокзал. Нас выгрузили в самом центре города и объявили, что здесь мы будем ждать нашего следующего поезда. Разумеется, во время ожидания всегда возникают неизбежные физиологические потребности. Плохо соображающими после предыдущего вечера оказались не только сержанты с ефрейтором, но и сопровождающие нас офицеры. Тем более, никому из них не доставляло удовольствия конвоировать нас в вокзальную уборную. Мы с Валерой немедленно туда и отправились. То есть, в сторону «туда». На самом деле мы вышли на площадь Восстания, прогулялись по Невскому до Литейного, потом вернулись к вокзалу, где в подвале соседнего дома на углу Старо-Невского была закусовая. Там нам дали теплое пиво и холодные котлеты. Но больше всего нам поразили бумажные салфетки – это были куски толстой оберточной бумаги, нарезанные полосками 5x10 сантиметров. Вытереть ими что-нибудь было невозможно и из-за формата, и из опасения поцарапаться. В Таллине даже самая последняя пивная не позволила бы себе такого. Но особенно кощунственно это выглядело на фоне того архитектурного великолепия, которым мы только что наслаждались.

Вскоре после возвращения к своей команде мы были уже в вагоне, где повторилось все вчерашнее. И утром нас построили на перроне Ленинградского вокзала в Москве. Но наше путешествие еще не закончилось. Впервые в жизни я ехал на метро. Потом нас втиснули в электричку, а еще через час мы оказались в самых что ни на есть чеховских местах – в Истре (что это – чеховские места мы узнали гораздо позднее). От Истры мы четыре километра шли по пыльной проселочной дороге. Как потом выяснилось, к нашей части вела и отличная «бетонка», но по ней надо было делать крюк. С удивлением читали мы названия деревень, мимо которых проходили – Буньково, Трусово и пр. Что-то говорило только название одного сельца – Вельяминово. Вспоминался школьный учебник астрономии, написанный носившим такую фамилию автором. Потом выяснилось, что это усадьба известного дворянского рода Воронцовых-Вельяминовых. Привыкший к эстонской деревне с ее добротными хуторскими постройками, я диву давался, глядя на покосившиеся избенки, подслеповатые оконца, жуткую голубую краску на фоне почерневшего полугнилого дерева. Но как символ современности почти над каждой такой хибарой торчала телевизионная антенна.

Телевизор вошел в нашу жизнь в середине пятидесятых годов. Это был КВН-49 с экраном сантиметров 10 на 15 и приставлявшейся к нему линзой – двумя выпуклыми стеклами, между которыми наливалась дистиллированная вода. Позволить себе эту роскошь могли не многие. И на телевизор ходили в гости. Лично я ходил в гости к Беспрозванным. Боря Беспрозванный – впоследствии хороший детский отоларинголог, живущий уже много лет в Германии, был на полгода младше меня и приходился мне, так сказать, троюродным братом. Он был внучатым племянником мужа бабушкиной сестры Розы (Рахили) дяди Самуила, которого мы, дети, очень любили за его постоянное хохмачество. Внешне угрюмоватый и невозмутимый он вдруг с совершенно серьезным видом выдавал что-нибудь такое, от чего долго никто не мог прийти в себя. Это очень шокировала мою двоюродную бабушку, которая была, что называется «цирлих-манирлих». Тетя Роза, например, требовала, чтобы, здороваясь с ней, я шаркал ножкой. Однажды я возмутился и заявил, что не собираюсь становиться паркетным шаркуном (у них в квартире, то есть, в тех двух комнатах их довоенной квартиры на улице Теразе, 2, которые им вернули) был настоящий дубовый паркет. Так вот однажды на каком-то семейном торжестве, на которое были приглашены и мы, дядя Самуил за столом стал самым беззастенчивым образом ухаживать за молодой и хорошенькой женой Августа Порка – фронтового друга его сына Ади, впоследствии председателя КГБ ЭССР, а тогда еще журналиста. Моя бабушка, которая тоже считала очень важным соблюдение приличий, начала его одергивать. Тогда дядя Самуил, не задумываясь, сунул руку в карман, достал пятидесятирублевую бумажку и протянул ее бабушке со словами: «Возьми

и пойдти в кино!». За столом грохнули все – от мала до велика, кроме тети Розы.

Дядя Самуил торговал в магазинчике промтоваров на нынешнем центральном, а тогда единственном городском рынке. Мы с Борей обожали «помогать» ему. Как-то раз в магазинчик зашел офицер и стал выбирать шерстяную кофту для своей жены. Он перебрал все, что можно, и никак не мог остановиться на чем-то. Наконец, почти решившись, он уныло сказал:  
- А что, если жене не понравится?  
- Возьмешь другую жену, - мгновенно ответил дядя Самуил.

Все это я вспоминал, глядя на уныло торчавшие на крышах Буньково и Трусово телевизионные антенны.

И вот мы в военном городке, который должен стать на три года нашим.

Городок делится на две части: справа от КПП – контрольно-пропускного пункта – солдатская, слева – офицерская. Солдатская начинается со стадиона с небольшим спортзалом, затем идет двухэтажная кирпичная казарма «покоем», т.е. буквой «П», за ней ряд одноэтажных деревянных казарм стиля позднего «баракко», каждая – человек на 200. За казармами хоздвор со свинарником и за ним гауптвахта.

Центральная полоса городка – культурно-едальная. Два небольших деревянных домика – продуктовый и промтоварный магазины Военторга, в крохотном скверике – монументальное здание с колоннами – Дом офицеров (он же – клуб), за ним две огромные одноэтажные столовые для рядового и сержантского состава. В них невероятное количество длинных столов со скамьями. За один такой стол усаживается отделение – 10 человек.

Левая часть городка – дома офицерского состава (ДОСы) – кирпичные, в основном трехэтажные, но есть и поменьше. Судя по количеству ДОСов, офицеров в части довольно много. Между домами – офицерская гостиница, она же – общежитие для холостых офицеров и «макаронников» - сержантов и старшин сверхсрочной службы, которых сейчас назвали бы контрактниками. О своих впечатлениях об этом особом классе людей я еще расскажу. Рядом с гостиницей – офицерская столовая. Каст в Советском Союзе нет, но между солдатами-срочниками и офицерским составом – непроходимая сословная пропасть, через которую перепрыгнуть удастся очень редко, и только, если попадается офицер-«выродок». Мне таких попало несколько. Все обслуживание офицерской части городка - от поваров в столовой до сантехников и электриков, дворников, слесарей – солдаты хозчасти. Только дежурные в гостинице – офицерские жены. Клубная команда, включая оркестр (духовой, разумеется) – солдаты.

Но все это я узнал несколько позже. А пока нас всех загнали в одну из деревянных казарм: коридор длиной метров в пятьдесят. Из него двери в туалет, учебный класс, ленинскую комнату, каптерку и канцелярию. В центре большая ниша с вешалками для бушлатов и шинелей. Вдоль стен – шкафы для оружия – пирамиды. Тумбочка, у которой зачем-то торчит солдат со штыком в ножнах на поясе. В торцах по обе стороны проемы без дверей в спальные отсеки. 100 человек налево, сто человек направо. Двухэтажные койки. Между ними тумбочки. У коек в проходах – табуретки. Никаких других предметов мебели не наблюдается.

Нам дают только положить вещи и опять строят – в баню. Заходим мы в нее все разные, выходим – все одинаковые. Нас обстригли наголо, напялили одинаковые «семейные» трусы до колен, майки, которые размеров на пять больше, чем те, которые мы носили до этого. Пилотки на остриженных головах проваливаются на уши, а уши торчат, как лопухи. Гимнастерки заканчиваются где-то в районе колен. Впервые в жизни намотанные на ноги портянки норовят превратиться в ком в носке кирзового сапога. Его широкое голенище на ноге напоминает ступку, в которую вставили пест. Узнать друг друга не можем, робко проверяем догадки, окликая показавшееся знакомым лицо по имени. В большинстве случаев ошибаемся.

После бани – обед. Войдя в столовую, бросаемся к столам. В желудках давно уже урчит. Но не тут-то было. Велят строиться. Строем подводят к столу. Садиться можно только по команде. На столах – большие кастрюли – бачки с супом. Сержант берет на себя функцию «разводящего» – разливает суп по мятым алюминиевым мискам. Жадно начинаем хлебать и тут же прекращаем – эту бурду есть невозможно (так нам кажется). Ждем второго. Оно оказывается еще страшнее – куски вареного свиного сала с какой-то кашей (потом мы узнали, что она называется «кирза», поскольку по консистенции похожа на голенища наших сапог). Особенно туго кавказцам-мусульманам – их при виде сала чуть ли не рвет. Пожевали обжигающе горячей каши. Но даже ее доесть не успели. Раздалась команда встать и строиться. Встали почти такие же голодные, как и садились, и потопали обратно в казарму. Сдали на хранение в каптерку то, что сняли в бане – последние следы вольной жизни. Сразу скажу, ничего из того, что я сдал, я не увидел уже никогда.

Загнали в ленинскую комнату. В глазах зарябило от стендов на стенах – члены Политбюро, кандидаты в члены Политбюро, маршалы, история части, иллюстрации к уставу строевой службы. Все это оформлялось в соответствии со вкусом Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, который тогда возглавлял бывший посол в Югославии генерал армии Епишев. Его художественный вкус был

безупречным, поскольку признавал только два критерия – наглядной агитации должно быть много и она должна быть разноцветной. Поэтому в ленинских комнатах стены можно было обоями не обклеивать и краской не красить – все равно их из-под стендов видно не было.

Стали объяснять, в какую замечательную часть мы попали. Мы ничего не поняли, кроме того, что предшественником войсковой части 63002 был какой-то артиллерийский полк, который в годы Великой Отечественной войны получил какой-то орден. Начинаем сознавать, почему на погонах, которые нам выдали и которые уже красовались на наших плечах, прикреплены эмблемы в виде двух скрещенных пушек времен Крымской войны.

Стало интересно, с какими пушками нам придется иметь дело. Но узнать это мы должны были только после принятия присяги, поскольку не присягнувшему государственная тайна не доверяется. Потом нам сказали, что в течение двух месяцев мы будем проходить курс молодого бойца.

Курс этот заключался в изучении уставов, промывании мозгов и шагистике. Наши контакты вне казармы были строго ограничены, а потому мы только по слухам знали, что попали в ракетную часть. Основная информация добывалась во время наряда на кухню. Вообще нарядов было два – суточный из трех человек – дежурного и двух дневальных и кухонный из 14 человек. В обязанность суточного наряда входило поддержание чистоты и порядка в казарме после утренней уборки, в которой участвовали все, дежурство через два часа по два часа в течение суток у тумбочки, чтобы не пропустить без приветствия появившихся в казарме офицеров. Дежурный сержант в стоянии у тумбочки не участвовал и к тряпке, естественно, не прикасался. Сон урывками по два часа ночью изматывал невероятно. С другой стороны, в кухонном наряде было не легче. Помимо чистки картошки, мытья посуды, перетаскивания корыт с макаронами, бесконечной уборки кухонных помещений надо было топить почти непрерывно шесть огромных котлов, в которых варилось то самое несъедобное варево. Котлы топились углем, поэтому кочегар мгновенно оказывался замаскированным под кучу этого топлива. Наряд заканчивал работу после полуночи, а в пять часов утра надо уже было быть снова на кухне – в восемь начинался завтрак. И завтраки, и обеды, и ужины в двух огромных столовых проходили еще и в две смены. Между сменами необходимо было вымыть 1500 мисок, 1500 ложек и 1500 кружек. На что полагались 2 человека. Из техники в их распоряжении были большущие ванны из нержавеющей стали, одна из которых наполнялась мыльным раствором, а вторая – водой для полоскания. Мытье заключалось в том, что добрая сотня мисок одновременно погружалась в мыльный раствор, а потом, подобно мине, летела из одной ванны в другую, из которых их извлекал

второй посудомойщик и складывал штабелями по десять штук. Во время всей этой процедуры степень чистоты миски не определялась даже на глаз.

В овощном цехе техника была в виде картофелечистки, куда влезал за раз мешок картошки. Но ряд этих мешков казался бесконечным. Кроме того, подмосковный картофель, должен давать урожаи «сам-двенадцать», не менее, поскольку менее дюжины глазков ни на одном клубне не было, а глазки картофелечистка, естественно не выковыривала – это делалось вручную, ножом.

В первый же день пребывания в городке мы вплотную познакомились с новым словом, с которым я, правда, был знаком благодаря тому мальчишке – старшему матросу, который какое-то время учился в нашем классе еще в начальной школе, словом «салага». Им обозначались все мы, солдаты-первогодки. Дедовщины, подобной процветающей в российской армии ныне, тогда еще не было. Но основы ее существовали в виде деления на салаг, второгодников и «стариков» - солдат третьего года службы. Как гласила солдатская мудрость, первый год служишь за страх, второй - за совесть, а третий – дослуживаешь.

За год нам предстояло познать все официальные, а еще больше неофициальные премудрости воинской службы. С первой из них я познакомился на второй день пребывания в части, когда был отправлен в суточный наряд. Утром, невыспавшийся, еще до общего подъема я был отправлен мыть туалет на двадцать восемь очков. Минут за пятнадцать до подъема я закончил эту процедуру, и тут в туалете появился, как он нам отрекомендовался накануне: старшина батареи старшина сверхсрочной службы Старшов. Отправив свою естественную надобность, грозный старшина снисходительно обратился ко мне: «Тяжело?». Я не видел смысла врать. «Ничего, - продекларировал он, - тяжело в учении, легко в бою. Кто это сказал?» «Суворов», - ответил я, гордясь своими воинскими знаниями.

«Врешь, - заявил старшина. – Это я сказал, старшина Старшов, запомни!» Я тут же вспомнил другую мудрость советского периода: «Скромность украшает человека, но мы, коммунисты, не любим украшений!»

Салаг принято было подначивать. Не могу сказать, чтобы это было что-то злостное. Но вносило разнообразие в монотонную жизнь «стариков». Моему напарнику по наряду – деревенскому парню с Херсонщины довелось стать первой жертвой такого розыгрыша. Когда он стоял у тумбочки, зазвонил телефон. Он снял трубку и, как учили, отрапортовал: «Дневальный по учебной батарее рядовой Копейка!».

- Рядовой Копейка, - проговорила трубка, - звонит дежурный по части, сейчас будет проверка линии. Обмотай трубку мокрой тряпкой положи ее на тумбочку и смотри, когда по ней побежит ток. Как побежит, доложишь!

Копейка послушно обмотал трубку тряпкой, которой я только что мыл пол, и стал ждать. Когда я пришел его сменить, трубка все еще лежала обмотанная тряпкой на тумбочке.

На вопрос, зачем он ее положил, Копейка рассказал мне всю эту историю, завершив ее словами: «А он все не бежит!»

Несколько больше знакомый с разделом «Электротехника» школьного курса физики, я размотал тряпку и положил трубку на рычаг настенного телефона. Но понял, что разъяснять теоретические основы электротехники сейчас не время – полтора часа в казарму не мог дозвониться никто. Пришлось лезть в аппарат и отсоединять один из проводков. Когда в казарму влетел разъяренный помощник дежурного по части, не получивший рапорта о том, сколько человек пойдет из батареи на обед, мы сделали невинные морды и заявили, что никак не могли дозвониться – испорчен телефон, а выходить из казармы не имеем права. Дежурный сержант же пошел в столовую, обеспечивать обед (на самом деле он дрых прямо в сапогах на чужой койке).

Но, впервые оказавшись в кухонном наряде, попался на удочку розыгрыша и я. Нет, продувать макароны (800 кг) я отказался, за что получил подзатыльник от старшего повара, на это дело посадили двоих наших кавказцев – рядового Кубаляева и рядового Габдалисламова. Но, когда закончив мытье главного цеха, мы собрались переходить на мытье зала в столовой, тот же старший повар с гневом спросил: «А под плитой мыли?»

Необъятных размеров дровяная плита, на которой стояли столитровые кастрюли и метровые в диаметре сковороды, занимала добрый десяток квадратных метров в центре кухни. Вдоль ее периметра шел медный трубчатый обод. Нам было велено взяться за него, передвинуть плиту и помыть пол под ней. Усилия шестерых результатов не дали. На подмогу были вызваны все, включая кочегаров. С тем же итогом. И только, когда вся бригада поваров уже оказалась не в силах сдерживаться и грохнула во всю мочь, мы поняли, что стали жертвами розыгрыша – плита покоилась на бетонном фундаменте и была в него вмурована.

Должен сказать, что год спустя мы и сами не прочь были подшутить над молодыми. Помню, как Слава Митин – выпускник Днепропетровского ракетного техникума, дал одному из первогодков в руки чайник без крышки и послал в лабораторию за электронной эмиссией. Работавший там в это время ефрейтор Цыплаков, ничтоже сумняшеся, взял чайник и отправился было в соседнее помещение, но потом резко обернулся и спросил: «А крышка где?»

- Не дали, - робко пробормотал салага.

- Так она же у тебя вся испарится, - сказал Цыплаков. – Иди, принеси крышку!

Когда посланец явился за крышкой в полном недоумении от несообразительности старшего товарища, не давшего столь важной для удержания электронной эмиссии детали тары, Славка на полном серьезе стал объяснять парню с семилетним образованием, что такое электронная эмиссия. Кстати, в нашем подразделении этот парень не задержался – его перевели в батальон охраны.

И все же, хоть в наряде физически было очень трудно, но ты хоть частично понимал, что и зачем делаешь. А вот когда заставляли зазубривать формулировки из уставов, или устройство автомата ППШ времен второй мировой войны, причем не понимать, а именно зазубривать, то смысл этого терялся где-то в извилинах наших наставников. Как и многочасовая шагистика: «Кругом!», «Бегом!», «Шагом!» и прочее.

По идее, мне должно было быть легче – я со всем этим был уже знаком по занятиям на военной кафедре в университете. Но оказалось, что взгляды старшины Старшова и нашего университетского преподавателя подполковника Погуляева на строевой шаг разительно отличаются, а трактовка уставов сержантом Драчуком и полковником Хайкиным с военной кафедры университета вообще не сопоставима.

Самым неприятным временем было утро. Подъем по распорядку дня полагался в 6.30. Дома я в это время спал мертвым сном. Поэтому поначалу крик дневального из коридора: «Подъем!» вообще не достигал моих ушей. А за этим следовала рука дежурного спиногрыза (так у нас называли сержантов), скидывающая тебя с койки. Учитывая, что койки были двухъярусные и я спал на «втором этаже», полет вниз был делом мало увлекательным. После того, как тебя поднять – подняли, но разбудить забыли, нужно было за 45 секунд натянуть на себя брюки, гимнастерку, застегнуться на все пуговицы – внизу и наверху, да еще намотать портянки и вколотить ноги в сапоги, а затем встать в строй. Если хоть один человек не укладывался в эти секунды, раздавалась команда: «Отбой!», и за те же 45 секунд надо было очутиться снова раздетым на своем втором этаже. И так происходило раз по десять. Самое страшное, что мочевой пузырь грозил в это время лопнуть и все мысли были только о том, чтобы не осрамиться и в этом отношении.

Наконец, спиногрызам надоедало подъем-отбойничать, и нас выгоняли на зарядку. До 10 градусов мороза полагалось выходить на зарядку по пояс голым. И хотя морозов в сентябре еще не было, но после теплой постели выбегать на осенний пронизывающий ветер казалось чудовищным.

Зарядка начиналась с пробежки. С легкой атлетикой у меня нелады были всегда. Из-за этого меня, уже имевшего первый юношеский разряд по борьбе, ненавидели школьные учителя физкультуры. Я физически был не в

состоянии пробежать 100 метров в отведенные на это секунды. А тут бежать надо было не менее километра. Взводная колонна растягивалась после первых двадцати метров. Причем я оказывался еще не в самом ее конце. Когда наиболее привычные к передвижению таким способом уже достигали заветного рубежа, замыкающие находились едва на половине дистанции. И только после того, как все собирались у обозначенного фигурой сержанта финиша на лесной дороге, наконец, разрешалось «оправиться», т.е. опорожнить мочевой пузырь. Это был единственный счастливый миг за все время с подъема. Затем начиналось характерное для всех физзарядок тупое махание конечностями, наклоны туловища и т.п. По очереди выполнялись три комплекса упражнений, запомнить которые было выше моих сил. Соответственно я уже во время зарядки зарабатывал очередной наряд на кухню, чему был очень рад, потому что там можно было махать руками с зажатой в ней лопатой с углем, понимая, что и зачем делаешь.

То, что я сейчас описал, передает не нынешнюю, а тогдашнюю оценку мной происходившего.

Вскоре я убедился, что зубрежка уставов в армии неизбежна, потому что половина салаг понять их не в состоянии в силу своего умственного развития. В течение десяти дней я был свидетелем, как один из новобранцев на вопрос сержанта, указывающего на спусковой крючок автомата, давал ответ, что «Цэ дручок». А уж запомнить, в чем состоит неприкосновенность часового, эта часть нашей команды не могла пересказать и к концу двухмесячного курса молодого бойца.

Экзерсисы на свежем воздухе, а помимо зарядки, мы еще часами вышагивали по строевому плацу, обучаясь поворотам направо, налево и кругом, строевому шагу, отданию чести и пр., плюс по два часа почти ежедневно физической подготовки, когда надо было суметь вытащить свою голову над уровнем перекладины не менее десяти раз, прыгать через «козла» и «коня», бросать болванку гранаты, заставили нас забыть о привиредничаньи в столовой. Каша, хлеб, мо-чай (МО – это министерство обороны, наш чай листом этого растения даже не пах) исчезали в мгновение ока, наши мусульмане уписывали вареное свиное сало так, что только треск за ушами стоял. Через час после очередного «принятия пищи» жрать хотелось невероятно. Но в магазин нас, не принявших присяги, пускали только строем, да и то раз в два-три дня. Какое отношение имеет присяга к магазину Военторга, находящемуся на территории все того же огороженного высоченным забором с колючей проволокой военного городка, я не могу понять и сейчас. Очень сказывалось полное отсутствие в рационе вроде бы нормальных продуктов – яиц, свежих овощей, нормального мяса, полное отсутствие молочных продуктов. Но мы, тем не менее, прибавляли мышечную массу. Самым неприятным был четверг – постный день, когда не давали и вареного сала. Его заменяли полселетки –

ржавой и соленой до нельзя. «Старики» в столовой над нами подсмеивались: «Как три километра селедки съедите, так домой поедете!» Не радовала нас эта перспектива. Нам было еще служить, «как медным котелкам».

Похоже, что за нами во время этого курса внимательно наблюдали. Ибо к концу его мы оказались расписаны по подразделениям. Те, которым больше всего удавалась шагистика, направлялись в батальон охраны, именуемый иначе еще «через день на ремень». Этот батальон сутки нес караульную службу, а сутки «отдыхал» - занимался строевой и политической подготовкой.

Политподготовка, главной задачей которой было промывание наших мозгов, была для меня любимым видом занятий. Не потому, что мне так уж интересно было все, что нам преподносилось, а потому что не требовала никаких усилий. Мне, сдавшему в университете экзамен по истории КПСС, не нужно было прилагать усилий, чтобы ответить, кто генеральный секретарь ЦК КПСС, что такое президиум ЦК КПСС, какие страны входят в НАТО. С перечислением этих тогда 14 стран, у многих моих коллег возникали непреодолимые проблемы. У меня же язык был подвешен, болтать я умел, и на любой вопрос командира взвода, который вел политзанятия, я разражался пространной лекцией, не оставляя времени, чтобы опросить остальных. Поэтому уже через неделю меня оставили на политзанятиях в покое, и я, втихаря, почитывал газеты, которыми в изобилии снабжались все ленинские комнаты.

Валеру Найбоченко, меня и еще человек десять прибалтов распределили в Четвертый отдел.

Это было одно из самых маленьких подразделений огромной части, состоявшее всего из одной батареи солдат – человек сто, и примерно такого же числа офицеров. Отдел занимался ремонтом. Это нам сказали, но не сказали, чего.

.....

Поскольку на начало ноября приходится мой день рождения, меня решила навестить ничего не подозревающая мамина двоюродная сестра Нуся. Она как раз находилась в Москве на стажировке в Генеральной прокуратуре СССР. Еще до начала Карибского кризиса Нуся написала мне, что будет в Москве и спрашивала, как ко мне добраться. Я ответил, что из Москвы до Истры – на электричке, а дальше на одиннадцатом номере. Имея в виду: «На своих на двоих, на одиннадцатом номере». Нуся с русским фольклором оказалась знакомой не досконально и, приехав в Истру, стала

искать автобус номер 11, хотя там, отродясь, больше пяти автобусных маршрутов в то время не было. Наконец, кто-то задал ей вопрос в лоб: «А тебе к танкистам, али ракетчикам?», поскольку условный номер части 63002 никому ничего не говорил.

Нужно ли говорить, что дислокация воинских частей, а тем более их назначение были в СССР одной из самых сокровенных тайн. Любое упоминание об этом служило цензуре основанием для изъятия наших писем. Когда я уезжал поступать в университет, на Ленинградском вокзале в Москве ко мне подошел мужичок, который хотел навестить своего сына, служащего где-то здесь, по адресу Москва-400. Москва-400 было адресом ракетного полигона в Капустинном Яру в добрых нескольких тысячах километров от Москвы. Но этого я мужичку сказать не мог. Нуся, естественно, не знала, ракетчик я, али танкист. Но решила сначала пойти к ракетчикам.

Карибский кризис закончился накануне. Мы вернулись в казарму ночью не в состоянии даже поесть. Желание было одно – спать. Но рано утром меня разбудил дежурный по батарее – Гладченко срочно вызывал нескольких человек на техплощадку. Прибыла та самая ракета, которую китайцы умудрились пробить отверткой. На ремонт были даны считанные часы. Мы принялись за работу, так и не проснувшись. К обеду ракета была не только заварена, но и загерметизирована и покрашена – хоть сейчас на парад. Обед нам привезли прямо в наше здание 101д. Только я начал хлебать ложкой бурду, именуемую борщом, как дневальный вызвал меня к телефону. Дежурный по части сообщил, что ко мне приехали. Известив Гладченко и получив его добро, я рванул бегом пять километров до КПП жилого городка. Там сидела Нуся с распухшими от шестикилометрового броска по осенней подмосковной раскисшей глине ногами. Выглядела она неважно, но когда она увидела меня, то просто пришла в ужас: четверо суток почти без еды и сна, без возможности нормально помыться и безо всякой возможности побриться сделали свое дело. Отощавший, обросший и измотанный, да еще обливающийся потом после пятикилометровой пробежки - в таком состоянии я выглядел огородным пугалом.

Конечно, я не мог ей тогда рассказать всего. Но попытался, когда мы сидели уже в нашей офицерской гостинице, дать понять, что в таком состоянии я нахожусь не всегда, потому что сообразил, что даже если она, сильно смягчив краски, расскажет, каким увидела меня, моей маме, то инфаркта у мамы не миновать. Часы, проведенные с Нусей, стали для меня целительным средством. Психологическое переключение оказалось как раз тем, что было крайне необходимым для скорейшей реабилитации после пережитого.

.....

Я могу еще долго вспоминать о годах армейской службы, о том, что благодаря ей повидал и понял, как изменила она мое представление о жизни, как научила при необходимости преодолевать неизбывную природную лень, как заставила ценить свободу и добрые человеческие отношения. Бесспорно, я получил и хорошую физическую закалку, но главное, все-таки, психологическую. С одной стороны, жаль вроде бы потерянных четырех лет – года на заводе и трех в армии, но, с другой стороны, дальнейшее еще раз подтвердило, что никакой опыт, особенно для журналиста, лишним не бывает.

В июле я сдал экзамены на подготовительных курсах, и 23 июля отбыл в отпуск для поступления в университет. 45 рублей отпускных мне выдали пятнадцатикопеечными монетами. Положив их в карманы солдатских галяфе, я понял, что до Истры мне не дойти, разве что без брюк. На мое счастье в магазине военторга знакомая продавщица согласилась обменять мелочь на рубли.

В камере хранения ручного багажа Ленинградского вокзала я попросил у кладовщика разрешения переодеться, достал из чемоданчика купленные заблаговременно в ЦУМе китайские шелковистые брюки и такую же шелковистую белую рубашку, сложил парадный китель со всеми регалиями в чемодан, сменил сапоги на туфли и почувствовал себя человеком. Кладовщик, наблюдавший за процедурой моего преображения, оказался словоохотливым, и мы разговорились. Я приехал на вокзал слишком поздно – поезд на Таллин уже ушел, мне предстояло кантоваться в Москве почти целые сутки. Он предложил переночевать у него, на какой-то из подмосковных станций. А пока, до окончания его смены, я отправился гулять по городу. В 11 часов вечера он сдал смену, и мы сели в электричку на соседнем, Ярославском вокзале. Дома его жена выставила на стол традиционное угощение – соленые грибы, кислую капусту, соленые грибы, винегрет, горячую картошку с селедкой. Я достал купленную в Москве бутылку водки. И начались расспросы, что, да как. Памятуя, что болтун – находка для шпиона, я плел небылицы, всячески избегая рассказа о том, как в действительности проходила моя служба. Но он все-таки понял, что я что-то смыслю в радиотехнике, и попросил починить старый приемник. Я добросовестно в нем поковырялся и нашел причину неисправности: пассик – резиновое колечко, которое соединяет ручку настройки с конденсатором переменной емкости, позволяющим настраиваться на разные частоты, растянулся, и обкладки конденсатора не поворачивались. Но запасного пассика у него не было, а взять его посреди ночи было негде. Так приемник и остался не починенным.

Утром мы расстались – я уехал в Москву и меньше, чем через сутки, вышел из поезда у до боли знакомого старого деревянного здания вокзала в Тарту.

## СНОВА УНИВЕРСИТЕТ

Габовичи в очередной раз переехали. Они обменяли свою отдельную двухкомнатную квартиру около театра Ванемуйне на три комнаты в пятикомнатной квартире в парке Тяхтвере, около пивного завода, бывшего и нынешнего «А ле Ког». Оставшиеся две комнаты занимала Марья Павловна, типичный божий одуванчик, чрезвычайно интеллигентная старушка, с которой я не помню ни одного конфликта. Надо ли говорить, что я был встречен со всем радушием семьи Габовичей. Мне даже отвели отдельные апартаменты – чуланчик рядом с кухней, площадью метра в четыре квадратных. Но там было окно, поместились лежанка и маленький столик со стулом. А что мне еще было надо после 800 коек, окружавших меня в казарме.

Вступительные экзамены начались с сочинения. Темы были, на первый взгляд, совершенно невероятные. Например, сравнительная характеристика Гамлета и Печорина. Мое счастье, что за три года службы я перечитал все, что было в библиотеке нашего Дома офицеров, потому что Шекспиру в нашей школьной программе уделялось минут пятнадцать. А уж сопоставлять, вроде бы, несопоставимое, нас, естественно, никто не учил. Думаю, что если бы я сейчас прочитал написанное тогда сочинение, то ужаснулся содержащемуся в нем бреду. Но, как я теперь понимаю, отбирая темы, кафедра хотела проверить не столько познания в области литературы, сколько способность человека самостоятельно мыслить. Во всяком случае, много месяцев спустя Юрий Михайлович Лотман признался мне, что его коллеги, которые обо мне понятия не имели, были удивлены, когда сопоставили мое сочинение с фотографией на экзаменационном листе, где я был в солдатской форме. Все остальные экзамены прошли уже гораздо легче. На устном экзамене по литературе и русскому языку мне достался Ломоносов, и после цитат из нескольких од я был отправлен на расправу к заведующему кафедрой русского языка Савватию Васильевичу Смирнову, сменившему на этом посту Правдина. Это была замена, аналогичная замене подполковника Василевского на майора Гусева. Савватий пытал меня довольно долго, но все-таки сумел выпытать, что такое сложно-сочиненное предложение и чем оно отличается от сложно-подчиненного.

Вместе со мной экзамены сдавали в основном вчерашние школьники. Разумеется, они свысока смотрели на солдафона, вздумавшего стать филологом (на экзамены я по тактическим соображениям ходил в форме).

Тем более, что я был опасным конкурентом – ведь отслужившие в армии шли вне конкурса, им достаточно было на экзаменах не провалиться. Пятерка, полученная мною на устном экзамене, вызвала интерес к моей персоне. Так я познакомился с Виталием Белобровцевым и Ириной Газер, которая впоследствии стала профессором Белобровцевой, умненькой и довольно хорошенькой девочкой с огромным самомнением Авигайл Левитиной, полным собой и своей гениальностью до краев Марком Левиным, дочерью председателя Госкомитета ЭССР по профтехобразованию и первого секретаря Калининского райкома партии Ольгой Шишкиной, Ларисой Семченко и Лилией Сийберг, Ларисой Андреевой, Леной Шкловской, Таней Александровой. Кроме меня, в солдатской форме сдавали еще экзамены Виктор Перелыгин, Иван Жук и еще один парень, лексикон которого был несколько странен для будущего филолога – он состоял исключительно из мата. Худенький, щуплый, парнишка на самом деле обладал огромной физической силой. Я видел, как на целине, на стройке двое парней пытались взвалить на стену довольно большой валун, но у них ничего не получалось. И тут раздалась состоявшая исключительно из мата тирада, означавшая, что эти двое здоровяков могли бы и отойти. Они так и сделали. Хрупкая фигурка обняла валун, выругалась и водрузила камень на стену. Вообще, парней поступало на отделение русского языка и литературы очень мало. А матершинник проучился недолго – наука давалась ему трудно.

С половиной поступавших мы вообще не пересекались. Дело в том, что на первый курс принимали 25 человек выпускников русских школ и 25 человек – эстонских. Последние должны были стать учителями русского языка в эстонских школах. Вскоре после начала учебного года их отправили на два года учиться и совершенствоваться в языке в разные университеты России.

За несколько дней до экзамена по английскому языку Гая Левитина подошла ко мне с предложением помочь подготовиться к нему. Я согласился. Ей очень нравилась роль ментора взрослого человека – ей-то было всего семнадцать. Я не стал рассказывать ей, что все эти три года еженедельно от корки до корки читал «Московские новости» на английском языке, чтобы не забыть то, что знал, и внимательно слушал ее объяснения, как надо произносить то или иное слово, какие бывают артикли и пр.

В общем, благодаря усилиям Гаи, конечно, с экзаменом по английскому у меня проблем не возникло. Не было их и с экзаменом по истории СССР (читай, истории КПСС), которую я уже сдавал на математическом отделении. Я был принят, о чем через военкомат известили мою часть.

Теперь уже форма была окончательно заброшена в дальний угол, хотя приказ о моей демобилизации и присвоении мне звания младшего техник-лейтенанта запаса пришел только 6 сентября.

Советская образовательная система была, как и улица, полна неожиданностей. Кому-то на самом верху пришла в голову замечательная идея – студенты, не имевшие рабочего стажа, должны проходить в целях воспитания трудовую практику. Поэтому лекции у нас проходили вечером, а с утра будущие филологи отправлялись на Тартуский кожевенно-обувной комбинат, где клеили подошвы к обуви. Я в числе других демобилизованных был, к счастью от этого идиотизма освобожден. Поэтому до вечера мне совершенно нечего было делать. И вот я как-то со скуки отправился со своими молодыми однокурсниками на комбинат. То, что увидел, своей бессмысленностью побудило меня взяться за перо, и я отправил в газету «Молодежь Эстонии» довольно большую статью, озаглавленную «О каблуке, молотке и практике». Эта публикация стала первой в моей гражданской журналистской биографии. Статья вызвала резонанс, меня как молодого коммуниста таскали в партком, но там понимали всю бессмыслицу происходящего, поэтому удовлетвоались тем, что доложили куда надо, что меры приняты. На следующий год подобного рода практика уже не применялась. Я отнюдь не считаю это своей заслугой, у кого-то все-таки в голове сработало, но статья привлекла внимание к проблеме, что убедило меня в том, что, работая в журналистике, я хоть как-то смогу влиять на происходящее.

Довольно скоро у нашего курса установились довольно тесные связи с второкурсниками. Этот курс был необычным. Из-за недобора на него пригласили ребят, не прошедших по конкурсу в Ленинградский университет. Поскольку это учебное заведение славилось своей черносотенностью, то контингент не поступивших был вполне определенным. Курсом старше меня учились Арсений Рогинский, ставший потом одним из лидеров и создателей российского «Мемориала» - крупнейшей правозащитной организации, собирающей и публикующей материалы о жертвах коммунистического режима в СССР, Михаил Билинкис - сын доктора филологических наук, известного литературоведа и сам впоследствии доктор филологии, Арам Григорян, чрезвычайно способный и очень серьезный парень, известный в Эстонии русский поэт и переводчик эстонской поэзии на русский язык Светлан Семенович, вскоре на этом курсе появился и Гарик Суперфин – ставший литературным секретарем Солженицына, проведенный за это пять лет в ссылке, а затем многие годы работавший на радиостанции «Свобода». Женский состав курса тоже подобрался любопытный. На этом курсе училась известная впоследствии в Эстонии журналистка Этери Кекелидзе, очень красивая Наташа Чекалова, вышедшая потом замуж за одного из наших преподавателей, Рита Шкловская, впоследствии журналистка одного из

запретных «голосов», Римма Андреева, вышедшая после целины замуж за весельчака и балагура, но очень способного физика Володю Головкина.

С курсом этим мы познакомились при довольно неожиданных обстоятельствах. 2 сентября в университете разразился скандал: милиция курортного городка Эльва в 28 километрах от Тарту задержала весь новоиспеченный второй курс в полном составе за безбилетный проезд в пригородном поезде. Препровожденные в помещение милицейского поста на вокзале второкурсники, как выяснилось, документов при себе не имели, а потому были оставлены под замком. Ехавшие праздновать начало учебного года и встречу после каникул, они имели при себе зато соответствующее снаряжение, включавшее и гитары. После употребления части запасов были задействованы струны гитар, и почти все население Эльвы собралось под окнами вокзальной КПЗ (камеры предварительного заключения) слушать бесплатный концерт. Прошу поверить мне, слышавшему репертуар этого коллектива в его исполнении неоднократно, что многие современные группы – участники хит-парадов им и в подметки не годились. А уж к «фанере» они точно не прибегали. Во всяком случае, самое большое раздражение у милиции вызвали как раз бурные аплодисменты горожан нарушителям правопорядка. Об учиненных студентами беспорядках ночью по телефону был поставлен в известность наш весьма пожилой и очень почитаемый ректор Федор Дмитриевич Клемент. Он, конечно, вызволил студизусов из кутузки, но пообещал суровые кары, вплоть до эксматрикуляции (исключения из университета). Дело было передано на рассмотрение студенческого коллектива. Честно говоря, мы не нашли особых слов порицания. Но ради спасения товарищей от более строгих мер «осудили» их поведение и решили просить ректора объявить им выговор. Однако Клемент нас опередил. Он сам съездил к начальнику райотдела милиции, хотя занимал несравненно более высокую социальную позицию как депутат Верховного Совета и член ЦК Компартии Эстонии. О чем они говорили, не знаю, но дело было к моменту нашего решения закрыто. А с выговором в приказе ректор с удовольствием согласился. Думаю, почтенному ученому представилась хорошая возможность вспомнить собственные студенческие годы.

Вскоре я переехал в общежитие, которое когда-то строил, и меня поселили практически рядом с комнатами, в которых жили второкурсники. Я жил в 106-й, а Сеня Рогинский, Миша Билинкис, Арам Григорян и Леня Миндлин жили в 104-й. Первый этаж был чрезвычайно удобен. Дело в том, что тогда очень строго блюли нравственность студентов. На проходной общежития по ночам сидела чрезвычайно вредная бабка, которая просто нюхом чувствовала, если в какой-то комнате после 11 часов вечера задерживались особы женского пола. И она была неумолима. Вызывались комендант общежития, проректор по хозяйственной части, милиция. 104-я комната была у нее на особенно плохом счету. Понятное дело, что, собравшись

вечером теплой компанией за сковородкой жареной картошки и несколькими бутылками дешевого вина, мы не горели желанием расходиться в 11 часов. Сначала мы при первых признаках опасности выпускали девушек через окно, а потом решили отучить бабку совать к нам нос. Для этого женские голоса были записаны на магнитофонную ленту. Магнитофон запускался в комнате, где собрались исключительно обитатели этого общежития, на мощность, достаточную, чтобы звук достигал ушей зловредной бабки. Она требовала открыть дверь, но мы не открывали, пока бабка не соберет всех – коменданта, проректора, милицию. Тогда мы любезно впускали их в комнату и объясняли, что прослушиваем записи фольклорного материала. После нескольких таких конфузов бабка перестала совать нос в 104-ю.

Но было у нас и другое место для «тусовок», как сказали бы теперь. Гая Левитина и студентка-медичка из украинского города Черновцы Геня Зонис снимали комнату на улице Кастаны в доме номер 29, на втором этаже, в квартире некоей Маши Каменовской, которая сама в Тарту почти не бывала, поскольку нянчила внуков в Таллине. Квартира состояла из двух смежных комнат, причем в проходной был еще один жилец – тоже студент-медик Яша Патурский. Почти всегда там обитал и его закадычный приятель Хуго Лейво. Но приятели редко бывали одни. Как правило, они на ночь приводили дам. Это обстоятельство нам, как раз не мешало. Мы, «попировав» в общей компании, удалялись в заднюю комнату, где веселье продолжалось. Но не только веселье. Здесь мы читали выкрадываемые в Таллине из спецфонда русской литературы Публичной библиотеки на сутки - двое запрещенные в то время книги. Читали вслух, по очереди. Так мы познакомились со стихами Ахматовой и Цветаевой, Мандельштама и Пастернака, давась от хохота, прочитали «Бурную жизнь Лазика Ройтшванца» Ильи Эренбурга и многое другое.

Понятно, что наши занятия были не только интеллектуальными. Мы флиртовали и танцевали, причем последнее было особенно опасно. Дело в том, что внизу, на первом этаже жили мои хорошие знакомые – семья моего приятеля еще с детских лет Саши Левина. От наших танцев у них на потолках тряслись люстры, особенно, когда дело доходило до «цыганочки». Тогда мама Левина брала швабру и стучала палкой в потолок. На какое-то время это помогало. Но не надолго. Тогда мадам Левина являлась собственной персоной и разгоняла нас. Вид у нее при этом был чрезвычайно грозный, хотя женщина она была добрейшая. Мы, нехотя, расходились. Но появления мадам Левиной вызывали осложнения с Яшей и Хуго, которые, мирясь с нашим почти что присутствием при их развлечениях, совсем не горели желанием информировать о своих утехах говорливую хозяйку квартиры внизу. Так что пришлось ввести ограничительные меры. На стене появился лист бумаги с надписью: «Не входи в раж после 11-ти – в 12-ть выйдешь!» Большой транспарант

красовался и в туалете: «Воду спустив, двери закрой, свет погаси и руки помой!» На кухне надпись гласила: «А ты помыл за собой посуду?» Так эта квартира, не переставая быть местом увеселения, все больше становилась подобием клуба, не в советском, а в светском понимании этого слова. Сюда допускались только люди проверенные, не способные нагадить ни физически, ни морально. Засиживались мы на Кастани допоздна. Дверь в общежитие была заперта, и приходилось звонить, будя старуху-вахтершу. Она с недовольным видом, заспанная, открывала дверь, не забывая полубопытствовать: «Откуда это вы так поздно?»

- Из библиотеки, - неизменно отвечал я.

Честно говоря, не всегда я возвращался в такое время в общежитие с улицы Кастани. Стипендии в 28 рублей не хватало даже на прокорм молодого организма. А ведь хотелось не только есть. Особенно после трех лет, проведенных за колючей проволокой. Поэтому нередко ночи проходили на станции Тарту - товарная за разгрузкой вагонов. Обычно команда была такая: Витя Перелыгин, Ваня Жук и я. Четвертый партнер менялся. Однажды мы взяли с собой Марка Левина. Разгружать надо было цементно-стружечные строительные плиты. Если в паре несли Ваня и я, или Витя и я, либо Витя и Ваня, то брали за раз пять плит. Марк более трех выдержать не мог, а под конец и вовсе сел, обессиленный. Правда, от равной доли оплаты он не отказался. А зарабатывали мы за ночь по десятке. 5-6 таких ночей в месяц позволяли нам нормально питаться, ходить в кино, проводить вечера в студенческом кафе, а главное, покупать книги.

Книги в советское время были очень дешевы, издавались тиражами, которые теперь издательствам, кроме выпускающих детективную дребедень, и не снятся, и при этом оставались вечным дефицитом. Магазин «Академкниги» в Тарту находился в привилегированном положении. Сюда осенью поступали каталоги всех крупнейших издательств на следующий год. И достаточно было против названия книги написать фамилию, чтобы книга, поступившая в магазин, оказывалась в специальном закутке на полке с приклеенной к ней (полке, а не книге) твоей фамилией. Незыблемым правилом было: заказанная книга должна быть выкуплена – магазин подводить нельзя. Когда приходило сразу много книг, мы выкупали их по частям, по мере наличия в наших карманах денег. Но и здесь не обходилось без хулиганства. Нашими жертвами обычно становились не любимые нами преподаватели типа Савватия Смирнова. Ему, помню, мы выписали полный комплект книг по свиноводству. Эта отрасль сельского хозяйства у студентов была особенно популярна. Однажды утром разразился скандал, дошедший до самых верхов. На главном здании университета большие медные доски, на которых по-эстонски и по-русски было написано «Тартуский государственный университет» оказались замененными примерно такого же размера досками с надписью на двух языках «Племенной рассадник свиней эстонской крупной белой породы», а университетские доски оказались на

соответствующем селекционном учреждении. Их, разумеется быстро снова поменяли местами, чтобы никому не пришло в голову придать этому хулиганству политическую окраску. А политическую окраску в то время могли придать чему угодно. Мы очень любили приходить в студенческое кафе по вечерам в среду. В его каминном зале зажигались свечи, играла музыка. Мы пили кофе, вино, танцевали, разговаривали. Кому-то этот «разврат» пришелся не по вкусу. Совершенно внезапно в Тарту прилетел и явился на такой вечер при свечах первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов. На следующий день он метал в комитете комсомола, парткоме университета, городском комитете партии грома и молнии, называя наши вечера возвратом к буржуазному прошлому, антисоветчиной и еще черт знает, как. Вечера при свечах запретили.

Мы все были больны библиоманией. Полки в наших общежитских комнатах ломились от книг. Большая часть моей библиотеки в шесть с лишним тысяч томов была приобретена в студенческие годы. Мы стояли ночами в очередях, чтобы заказать подписные издания – как правило, полные собрания сочинений классиков.

И при всем этом безумии жизни студиязуса, умудрялись еще и учиться. Надо сказать, что нам безумно и незаслуженно повезло. Кафедра русской литературы Тартуского университета в то время считалась лучшей в СССР. В первую очередь, конечно, благодаря Юрию Михайловичу Лотману – Юрмиху. Его собственные лекции – а он читал историю русской литературы – увлекали больше любого детектива. У Юрмиха не было готовых текстов. Он просто делился тем, что знал, а знал он! Но самое главное, он делился и тем, чего еще не знал. Он не пересказывал нам содержание литературных произведений, как мы привыкли в школе. Он раскрывал перед нами мир, обстановку, в которой творилась литература. По ходу рассказа ему в голову приходила какая-то мысль, и он начинал развивать ее. Это называлось у нас – заход по большому кругу. Потом от этой мысли ответвлялись другие – начинались малые круги, и в результате он возвращался к тому, с чего начал, но уже на более высоком и обогащенном новыми идеями уровне. Мы присутствовали при процессе мышления гения. Он никогда не давал понять свое превосходство, он на лекции разговаривал не с ничего не соображающими студентами, а с единомышленниками. Однажды он притащил на лекции фолиант (книги in folio – то, что мы сейчас назвали бы напечатанными на формате А2). Это была «L'art poétique» («Искусство поэзии») Буало на французском языке. Лотман стал читать ее страница за страницей. Потом спохватился и сказал: «Извините, вы, наверное, не все поняли?» (Никто из нас по-французски и полслова не понимал). Потом продолжил: «Так вот, здесь есть очень интересная мысль...» и пошел по большому кругу.

Многосерийная телепередача «Беседы о русской культуре», записанная годы спустя учившейся на пару курсов младше Женей Хаппонен (тогда

Петровой), отразила лишь малую толику того, что довелось нам услышать от Юрия Михайловича Лотмана. Он тогда начал разрабатывать направления, принесшие мировую славу и ему, и Тартускому университету, и эстонской науке, и всей советской науке – типологию культуры и семиотику. Студенты активно вовлекались им в его исследовательский процесс, он выносил свои проблемы на обсуждение студентов на спецсеминарах. Большинство из тех, кто слушал его тогда, не стало учеными-филологами. Но школу мышления прошли все. И школу порядочности. Ибо Лотман был человеком исключительной порядочности. Это он во время вторжения советских войск в Чехословакию подписал известное письмо сорока деятелей науки и культуры, за что был обречен оставаться «невыездным» почти до конца жизни. Его доклады, встречаемые громом оваций, читались на международных конференциях за него другими. Вице-президент Международной ассоциации семиотики он на моей памяти ни разу не участвовал в заседаниях ассоциации, проходивших вне пределов СССР. Показателен случай с Андреем Д., его любимым учеником и действительно необычайно одаренным человеком. Андрей уже заканчивал университет и был несомненным кандидатом в аспирантуру. Диплом он решил писать по мало тогда кому известному Михаилу Булгакову, произведения которого в послевоенные годы вообще не издавались. Мы читали «Собачье сердце» и «Роковые яйца» в Самиздате. Юрмих дал Андрею рекомендательное письмо к Елене Сергеевне Булгаковой – вдове писателя. Андрей съездил в Москву и вернулся чрезвычайно довольный, привез, кроме всего прочего, массу книг – его библиотеке мы все завидовали до коллик. Он был даже не библиофил, а настоящий библиоман, то есть человек, больной книгособирательством. И вдруг Юрий Михайлович получил от Елены Сергеевны письмо, что у нее пропала рукопись одного неопубликованного романа Булгакова – «Мастера и Маргариты». Она очень извинялась, что вынуждена заподозрить Андрея, но больше никто у нее в эти дни дома не бывал. После недолгих заперательств Андрей принес рукопись. Он потом объяснил, как это произошло. Прочитав роман, он понял, что при советской власти это никогда опубликовано не будет, пропадет в архиве, хранимом пока Еленой Сергеевной, а потом затеряется в каком-нибудь литературном архиве. Страсть библиомана возобладала надо всем. Желание обладать сокровищем, которое все равно никто не сможет оценить, заставила забыть о чести и совести.

Страшно подумать, что могло случиться: величайшее творение писательского гения Булгакова могло так и не стать достоянием человечества! Но, похоже, рукописи действительно не горят. Роман вышел, хотя и с сокращениями в журнале «Москва» в середине шестидесятых годов. И Эстония может гордиться тем, что еще до того, как «Мастер и Маргарита» были выпущены отдельной книгой на русском языке, издательство «Ээсти раамат» опубликовало роман в переводе на эстонский

язык. А несколько лет спустя я получил от жившего тогда в Эстонии поэта Миши Сафонова бесценный подарок – малоформатное издание «Мастера и Маргариты» эмигрантского издательства «Посев» с полным текстом романа и выделенными курсивом сокращениями, сделанными в журнальном варианте. Только тогда я понял, насколько гениально это произведение, если и в значительной степени выхолощенное оно оказалось настолько великолепным.

Судьба Андрея оказалась куда менее счастливой. Юрмих не смог простить подлости. Вместо аспирантуры Андрей поехал школьным учителем в самый отдаленный уголок Эстонии, где стал спиваться. По пьяному делу сгорел дом, в котором он жил, со всей его библиотекой, а потом и он сам в пьяном виде погиб под колесами автомобиля.

В то время Лотман жил уже в довольно просторной, если бы не книги, квартире на той же улице Кастани, на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Жил с женой – Зарой Григорьевной Минц и тремя сыновьями – Мишей, Гришей и Алешей. Однако это только список постоянных обитателей. По вечерам там можно было встретить не только всю кафедру, но еще и профессуру с многих других факультетов, и все это – окруженное целым сонмом студентов. Зара была замечательным блоковедом, но вот хорошей хозяйкой ее назвать трудно. Разносолов здесь на столе почти не бывало. Но зато еды было много. Что, не будем греха таить, тоже подчас приманивало студентов, особенно перед стипендией. Меню могло быть, например, таким: большая кастрюля макарон и несколько банок килек пряного посола. И никого это не обескураживало – главным было общение.

На ночь, обычно, ставилось несколько раскладушек – то ли это были студенты, приехавшие на конференцию, которым никакая гостиница была не по карману, то ли свои студенты, изгнанные за какие-то провинности из общежития, то ли знакомые или знакомые знакомых. Не создавал Юрмих дистанции между собой и студентами, дабы не уронить авторитета, а дистанция была, и огромная – мы ее прекрасно сознавали и поддерживали сами. Авторитет его был подлинный, не дутый, как у многих из тех, с кем мне пришлось встречаться и раньше, и позже.

Зара Григорьевна, вероятно, не была ученым такого масштаба, как ее муж. Но и ее увлеченность наукой была потрясающей. Помню, как моя тетка Дина вытащила ее, наконец, в магазин купить новое платье. Назавтра Зара явилась в этом платье на лекцию. Начав читать ее, она машинально взяла кусок мела, поставила одну ногу на стул, а пальцем принялась давить на столе мел. Минут через пятнадцать все новое платье было в мелу. Но она этого даже не заметила, продолжая рассказ о поэтах серебряного века. При

этом ее большие красивые темно-карие глаза горели от воодушевления. С нее можно было писать мадонну.

В отличие от четы Лотманов Павел Семенович Рейфман читал лекции внешне без эмоций, даже несколько монотонно. Зато умудрялся в два академических часа вместить столько, что у нас потом головы пухли, когда мы пытались разобраться в своих конспектах. Он в это время писал докторскую диссертацию о Салтыкове-Щедрине. Диссертация составила увесистый том в четырех частях. Защищал он ее не то в Москве, не то в Ленинграде и защитил с блеском. Узнав о его триумфе, мы с Женей задумались над тем, что ему подарить по этому случаю. И придумали. Мы явились к жившим по соседству с Габовичами Рейфманам с большим шаром докторской колбасы, которая на мясокомбинате была перевязана крест-накрест веревкой (докторская, четыре части). К этой веревке мы привязали пакетик лавровых листьев. Женя высказал сомнение, не переборщили ли мы с этой символикой, не обидится ли Павел Семенович? Но дело было уже сделано, ничего другого мы не придумали и рискнули. Подарок был принят на «ура». Правда, не столько Павлом Семеновичем, сколько его женой Ларисой Ильиничной Вольперт – докторская колбаса тогда тоже была дефицитом. Но Павел Семенович всю вложенную нами в подарок символику понял сразу и ехидно заметил, что в диссертации не только четыре части, но еще и введение, а также довольно обширный список литературы. Через полчаса двух частей не стало – свежий хлеб, масло, чай, вино и наша колбаса составили праздничное угощение.

Впоследствии Павел Семенович стал руководителем моей дипломной работы. Я еще расскажу о тех испытаниях, которые в связи с этим выпали на его долю. В доме Рейфманов я бывал не очень часто. Павел Семенович, в отличие от своей кипящей энергией жены, ни тогда, ни теперь не был публичным человеком. Говорил он мало, но очень метко и нередко с большой долей ехидцы, что называется, припечатывал. Их сын – Саня учился на физфаке. На два курса старше меня на нашем отделении училась моя одноклассница Лена Душечкина, ныне профессорствующая, как и ее муж Белоусов, в Петербурге. Саня влюбился в младшую сестру Лены, они поженились и в восьмидесятые, если не ошибаюсь, годы уехали в США. Я случайно встретил Саню в один из его приездов в Тарту – он был в общем доволен и жизнью, и семьей.

Специалистом по драматургии на кафедре был Валерий Иванович Безубов, родом из кавказских эстонцев – там, в Абхазии, существовали даже два эстонских колхоза – «Сальме» и «Эстонка». Валерий Иванович делал свое дело как-то очень тихо и незаметно, но когда он скоропостижно умер, потерю ощутили все.

На наших глазах развивался роман Сергея Геннадьевича Исакова, занимавшегося русско-эстонскими культурными связями, со студенткой третьего курса Миральдой Коор. Сергей Геннадьевич – небольшого роста, довольно полный, с круглыми щечками, за что имел прозвище «Пончик», был в те годы уже старым холостяком – ему было за тридцать. Казалось, что ни одной особе женского пола не удастся свернуть его с пути истинного. И вдруг мы стали замечать признаки внимания, оказываемого им своей студентке. Это, конечно же дало пищу для студенческих острот, благо фамилия Коор с эстонского переводится, как «сливки» или «сметана». Пошли разговоры о новом достижении в кулинарии – пончике со сливками. Роман оказался не мимолетным. Сергей Геннадьевич с Миральдой уже давно дедушка и бабушка. Мне довелось работать с профессором Исаковым, когда он был членом парламента Эстонии, и должен сказать, что и к этим не очень привычным обязанностям он относился столь же добросовестно, как к преподавательской и исследовательской работе. Как-то, когда мы сидели в комнате фракции, я ехидно напомнил ему двойку, которую он мне поставил на экзамене по эстонской литературе. Он не помнил этого. А двойку я получил за то, что не смог рассказать о четырехтомной эпосе писателя Ааду Хинта «Берег ветров». Я тогда был уже заочником, исаковских лекций не слышал, а прочитать все четыре тома не смог себя заставить – дошел только страницы до пятидесятой. Но самое обидное заключалось в том, что за день до экзамена я сидел в кафе художников «Куку» за одним столом с автором романа, но, конечно, разговор шел о чем угодно, только не о его эпосе. Экзамен пришлось пересдавать. В 2001 году мне как коррупционное деяние поставили в вину, что из бюджета Таллина были выделены деньги на закупку для школьных библиотек города составленной Сергеем Геннадьевичем антологии «Русские писатели XVIII – первой половины XX века об Эстонии», книги, которая вошла в Пушкинский список лучших изданий года на русском языке в мире.

Фольклор нам читал Вальмар Теодорович Адамс (на самом деле, Владимир Федорович Александровский), соавтор Игоря Северянина по нескольким поэтическим сборникам, блестящий переводчик и эссеист. Ему было уже далеко за семьдесят, но он оставался каким-то сексуально неудовлетворенным. Любил очень даже не платонически поглаживать симпатичных студенток. Поэтому на экзамены и зачеты к нему они всегда приходили в мини-юбках. Глазки его в таких случаях замасливались, и было уже неважно, какую чушь студентка несет. Как я уже писал, лекции на первом курсе у нас поначалу проходили вечером. И вдруг во время лекции Адамса погас свет. Вальмар Теодорович заявил, что не может в таких условиях вести запланированную лекцию, а потому расскажет нам о рубцевании у древних народов. И начал рассказывать о том, как наши предки наносили себе раны, дабы, зарубцевавшись на мужских половых органах, они доставляли больше удовольствия дамам. Хоть в темноте и не

было видно, но я чувствовал, как наливались краской мои однокурсницы, всего пару месяцев назад покинувшие школьную парту. Вероятно, это почувствовал и старый ловелас, потому заключил лекцию такой фразой: «Наука не может ходить с флаконом духов».

Еще сильнее был сексуально озабочен наш преподаватель зарубежной литературы доцент Альберт Труммал. Из всей сокровищницы литературы эпохи Возрождения, например, его интересовали только эротические сцены. Помню, как на зачете он доводил женскую половину нашего курса:

- Ну, рассказывайте!
- Они вошли в комнату...
- И что дальше? Не читали, так и скажите!
- Чита-ала!
- Тогда рассказывайте!
- Он овладел ею...
- Как?.. Не читали? Нечего и на зачет приходить.

Бедная девушка заливалась слезами. Но Труммал был неумолим и выпытывал все, до мельчайших подробностей.

Мне у него еще везло. Одну из своих немногих троек на экзамене я получил, отвечая на вопрос, поставленный им так:

- Назовите всех любовников Жорж Санд.

Бедная Аврора Дюдеван. Когда в 2004 году я побывал в Париже в ее доме-музее, я мысленно попросил у нее прощения за запрещенное законом вторжение в ее личную жизнь. Кого я ей только не приписал. Но Труммал остался недоволен. По его мнению, я не имел права забывать о Флобере. Я до сих пор не знаю, имел ли Флобер какое-либо отношение к телу парижской Авроры, но в моем сознании они теперь связаны неразрывно.

Во всяком случае, наши познания в области зарубежной литературы средних веков и вплоть до XIX века представляют собой теоретическую компетентность в различных способах осуществления полового акта.

Полной противоположностью Труммалу был наш преподаватель античной литературы доцент Рихард Михкелевич Клейс. Очень пожилой, по нашим тогдашним понятиям (ему было за семьдесят), высокий, корпулентный, но с осанкой гвардейского офицера времен Александра Сергеевича Пушкина, с будто топором вырубленными чертами лица, он всегда приходил на лекции в костюме с жилетом, а из кармашка пиджака выглядывал треугольник одинакового с галстуком платка. Клейс работал в университете еще до войны и был одним из тех, кого Федор Клемент спас от увольнения. Помимо античной литературы он вел у нас и латынь.

Античность, если только она реально существовала (а в том, что все это фальсификация меня пытается - и не без успеха - убедить мой кузен Женя Габович, безусловный приверженец и пропагандист теории фальсификации истории от древности до наших дней, основу которой (теории, а не фальсификации) положил народоволец Николай Морозов, просидевший в Шлиссельбургской крепости 25 лет и написавший в «жутких» условиях царской тюрьмы девять томов соответствующих исследований. Сейчас эту теорию на новом уровне научной мысли развивает известный российский математик академик Фоменко, к которому присоединился и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров), отнюдь не отличалась целомудрием. И в произведениях авторов той поры пикантных подробностей больше, чем достаточно. Обойти их совсем Клейс не мог. Но в его изложении скабрезная сцена выглядела так:

- И он приблизился к ней недостойным образом.

Рихард Михкелевич одновременно был и нашим продеканом, на голову которого сваливались все наши хулиганства, включая и нарушения строгих правил социалистического общежития, в том числе и студенческого. У Клейса была великолепная память. Причем не только на события античной истории и факты античной литературы. Похоже, он совсем не забыл и собственные студенческие годы. Поэтому все разбирательства по жалобам на нас заканчивались, как правило, какой-нибудь укоризненной репликой продекана. И только в самых крайних случаях, когда дело доходило уже до ректора, он призывал на помощь «тяжелую артиллерию» - Юрия Михайловича Лотмана. Ему Клемент отказать в просьбе не мог – он слишком хорошо понимал, с человеком какой величины имеет дело.

С Клейсом связана одна из незабываемых наших хулиганских историй. Курсом старше меня учился ростовский парень Юра Беляков. Бог не наделил его умом, но зато от щедрот своих одарил желанием быть умнее всех. Как-то в 104-й комнате общежития на улице Пялсони проходила очередная попойка, в ходе которой не помню уже кто стал рассказывать не местному Юре Белякову славную историю Тартуского университета. В изложении говорящего она выглядела так:

В Тартуском университете учился Рабиндранат Тагор и даже играл вратарем сборной футбольной команды университета. Но Тагор университет не закончил, потому что женился на Лолите Торрес (прославленная в наши времена певица, обладавшая небывалым по диапазону голосом – от колоратуры до баса) и уехал.

История эта была рассказана Юре в подробностях, порожденных пьяным воображением, с накручиванием самых невероятных обстоятельств. Юра воспылал. Он заявил, что будет писать на эту тему курсовую работу. И заодно проконсультировался у участников пьянки, где бы ему собрать побольше материала на эту тему. И тогда, кажется, Арсений Рогинский

посоветовал ему обратиться к ветерану университета Рихарду Клейсу, который должен все это помнить.

Все были уверены, что у протрезвевшего Беякова хватит ума сопоставить некоторые даты, дистанция между которыми доходила до столетия. Но Юра уверовал в рассказанное и дня через два записался на прием к декану. Войдя в кабинет Клейса, он попросил у него помощи. Обращение за помощью в деканат в те времена было не редкостью. В распоряжении декана и декана были, хоть и небольшие, средства, чтобы помогать тем студентам, которым уже просто не на что было жить. Поэтому Клейс встретил Беякова довольно ласково и спросил, в какой сумме он нуждается. В ответ Беяков объяснил, что помощь ему нужна вовсе не материальная, а информационная и изложил суть дела. Клейс был явно озадачен (о своих впечатлениях об этом событии он рассказал мне много позднее, когда мы случайно встретились в Вяэна-Йыэсуу – дачном месте под Таллинном, где Клейс отдыхал летом). Но фразу, которую он тогда произнес, донес до нас сам обескураженный Юра Беяков. Клейс ответил:

- Молодой человек, вы преувеличенного мнения о моем возрасте.

Разумеется, эта история стала притчей во языцех. Беякову проходу не давали, причем не только филологи, но и физики, математики, медики – мы все довольно тесно общались, и секретом для них сей анекдот остаться не мог. Юра Беяков вскоре не выдержал насмешек и вернулся в Ростов, где, кстати, успешно закончил местный университет.

По прошествии нескольких месяцев после моего вторичного поступления в университет на отделении проходило отчетно-выборное комсомольское собрание. Секретарь организации – будущий известный поэт и переводчик эстонских поэтов на русский язык Светлан Семенович был человеком, не испытывавшим никакой тяги к общественной деятельности. Поэтому, пробурчав несколько слов о проделанной работе, он вдруг предложил в секретари комсомольской организации меня. Собрание радостно загудело, поняв, что теперь уж перспектива оказаться в межумочной позиции между своим братом-студентом и администрацией никому из них не угрожает.

Так я оказался в положении, сильно сказавшемся на моей дальнейшей судьбе. Никак не могу вспомнить какие-нибудь выдающиеся факты моей деятельности на этом посту. Но и особых гадостей собратьям по студенческой скамье тоже не припомню. Нельзя забывать, что это было начало шестидесятых годов, когда в наших умах бродили идеи преобразования социализма в то, что несколько лет спустя было названо социализмом с человеческим лицом, и подавление которого советскими танками в Чехословакии в 1968 году положило конец этим иллюзиям. Мы,

как нам тогда казалось, стали вести борьбу за превращение комсомола из организации для молодежи в организацию молодежи.

Не могу не отметить, что комитет комсомола Тартуского университета, членом которого я тоже стал (по должности полагалось), имел в своем составе довольно яркие и, что самое главное, дополняющие друг друга личности.

Секретарем комитета был недавний выпускник физкультурного факультета Карл Адамсон – здоровенный парень с необычайными организаторскими способностями. А заместителей у него было трое – Микк Титма, аспирант-философ, впоследствии один из авторов-идеологов экономической независимости Эстонии, Прийт Ярве – мой сосед по комнате в общежитии, волейболист-перворазрядник и чрезвычайно разносторонне одаренный человек, работающий ныне в в одном из мировых центров по правам национальных меньшинств, и Яак Каарма, ставший секретарем Тартуского горкома партии в годы перестройки. В комитет входили также Лаур Кару, впоследствии крупный организатор здравоохранения в Эстонии, будущий известный писатель Мати Уньт – в те годы как раз вышла принесшая ему популярность первая книга «Прощай, рыжий кот», Яак Уйбу, впоследствии доктор медицины и заместитель министра здравоохранения Эстонии. Всех не перечислишь. Заместители Карла были мозговым центром, генератором идей. Но, как говаривал мой почти родственник, идея становится силой только тогда, когда она овладевает массой. Карл был замечательным реализатором идей. Нашей главной задачей было развитие студенческого самоуправления. Мы добились, чтобы студенческим комиссиям было передано распределение мест в общежитиях и стипендий. Советы общежитий решали, в каком порядке должны сниматься с повестки дня хозяйственные вопросы, включая ремонт в помещениях. По предложению комитета комсомола назначался заведующий студенческим клубом. Состоящий из студентов совет клуба определял всю программу его деятельности. Во что мы, в отличие от комитета времен первого моего пребывания в университете не вмешивались, была личная жизнь студентов. Именно тогда родился КВН, и в университете возникло сразу несколько команд, имевших не совсем «кошерные» названия. Одна называлась «Баба – это сила!», другая – «Кто положил на стул кнопку?» и т.д. Работал студенческий клуб международных отношений, которым руководил студент-историк, а впоследствии профессор одного из частных университетов и член Рийгикогу (парламента Эстонии) Томас Алаталу.

В январе 1964 года началась подготовка первого Эстонского целинного студенческого стройотряда. Учитывая, что я до этого три года провел в армии, где лето отнюдь не было временем отдыха, я полагал, что имею полное право провести жаркое лето 1964-го в праздном ничегонеделании. Однако в мае Карл Адамсон завел меня в свой кабинетик и сообщил, что

он назначен командиром республиканского отряда, а мне предлагается стать его заместителем – комиссаром отряда, для чего необходимо сдать всю сессию в течение мая и начала июня – о чем уже есть договоренность с ректоратом, поскольку в двадцатых числах июня отряд уезжает. Разумеется, при этом я должен принять активное участие в формировании отряда и решении всех проблем его жизнедеятельности на целине. Карл мотивировал свое предложение тем, что я, во-первых, бывал в Казахстане, во-вторых, лучше других в руководстве отряда знаю русский язык, в-третьих, имею некоторый запас технических знаний. На самом деле, комиссаром отряда планировался Прийт Ярве. Но в мае несколько изменилась ситуация. По первоначальному плану эстонский отряд должен был состоять из 50-60 человек, и всем им предстояло работать в одном совхозе. Но когда после объявления записи в отряд в вузах Эстонии начался настоящий бум, ЦК ВЛКСМ предложил нам «покрыть» не один совхоз, а целый район – Щучинский, сформировав 4-5 совхозных отрядов. Встал вопрос о командирах этих отрядов. Приита Ярве решили поставить на самый крупный и самый отдаленный от районного центра – Джамбульский с центром в Жана-ауле – это по прямой, то есть по степи, 90 километров от Щучинска. Вторым большим отрядом – Котур-кульским командовал студент-строитель из ТПИ Тынис Мигуль, а комиссаром у него стал первокурсник ТПИ Индрек Тооме. Так я, нежданно-негаданно оказался в центре бурных событий.

Отказать Карлу я не мог – слишком велико было мое уважение к нему. Поэтому все планы полетели кувырком, к явному огорчению мамы, которая практически не видела меня уже четыре года, и теперь дни уходили на поездки в Таллин, в различные министерства, где выбивались цемент, строительный инструмент, транспорт, инструкторы-строители и многое-многое другое, включая парикмахерские кресла и прочие причиндалы фрезурного искусства, музыкальные инструменты для джаз-оркестра, материалы об Эстонии и еще масса вещей, по тому времени чрезвычайно дефицитных. Например, презервативы. Их не было во всей республике. Тогда я позвонил первому секретарю горкома комсомола в Силламяэ Вадиму Покровскому. Этот город снабжался через Министерство среднего машиностроения СССР, то есть не в пример остальным городам и весям республики, а кроме того, он был закрытым, посторонних там было мало, поэтому никто не мог раскупить дефицитный товар.

Полагаю, что моя просьба проверить, есть ли в городской аптеке презервативы, Вадима несколько ошеломила. Но мне отступить было некуда: по нашим данным, венерические заболевания на целине были явлением обычным. А нам привозить оттуда в Эстонию всякую заразу было совсем ни к чему. Вадим в аптеку позвонил и выяснил, что товар в наличии имеется. Тогда я попросил его зарезервировать две тысячи пачек,

а сам помчался к первому секретарю ЦК Комсомола Эстонии Таймо Сууресаару, поскольку проникнуть в Силламяэ можно было только на его машине, имевшей правительственный номер. Таймо машину дал, и я помчался в Силламяэ. Не буду рассказывать, какие глаза были у молодой аптекарши, увидевшей клиента, покупающего сразу две тысячи пачек презервативов. Поглазеть на сексуального гиганта вылезли все сотрудники аптеки. Поначалу девушка начала отсчитывать мне товар прямо на прилавке, к ужасу всех, кто заходил в аптеку за лекарством. Но я пресек ее компрометирующие действия, вручив ей чемоданчик, взятый мной в секретной части ЦК комсомола у очаровательной Риты Андрейчук – он предназначался для перевозки секретных документов, имел замки и возможность опечатывания. Рите я, конечно, не сказал, для чего потребовался чемоданчик, она была девушкой высоко моральной. С этим чемоданчиком, закрытым и опечатанным, я и вернулся из Силламяэ, торжествующий. И не даром. Очень его содержимое было потом популярно в наших отрядах.

.....

Пора было браться за учебную программу. Поскольку дни были заняты, то на подготовку к экзаменам оставались, в основном, ночи. Думаю, помогла армейская закалка, когда во время срочной работы мы, порой в течение нескольких суток спали урывками, часа по два. Причем там брак грозил отнюдь не двойкой в зачетке. Во всяком случае, экзамены я сдал, и даже довольно прилично.

Год был очень тяжелым для нашей семьи. В мае умер отчим. Ему было 64 года – столько, сколько мне, когда я взялся за эту книгу. Но за моими плечами не было 10 лет сталинских лагерей. Его сердце не выдержало. А перед самым моим отъездом заболела мама - микроинфаркт. Конечно, я – сегодняшний, плюнул бы на все общественные дела и остался возле нее. Я – тогдашний не мог себе представить, что подведу товарищей. Ведь нас с пионерского салюта учили, что общественное выше личного.

В двадцатых числах июня 1964 года 123 студента из Эстонии сели в специальный поезд. В его составе были и товарные вагоны с нашим снаряжением, и вагоны с цементом. Везли мы и контрабанду – школьника Тийта Ярве, который по габаритам, правда, уступал разве что Тынису Мигулю. Прийт взял брата с собой, уступая его настоятельным просьбам показать целину. Забегая вперед, скажу, что работником Тийт, ставший потом заместителем председателя Таллиннского горисполкома, показал себя отменным и, фактически, стал родоначальником Эстонской дружины старшеклассников, существующей до сих пор. Кстати, после месяца работы, Щучинские районные власти попросили взять в наши отряды «на

перевоспитание» несколько «трудных» подростков. И должен сказать, что эти, якобы, отпетые хулиганы, нам особых хлопот не доставляли ни на работе, ни после нее...

.....

Сейчас трудно понять, что вообще руководило нами. Но одной из самых больших проблем для командования республиканского отряда было ограничение рабочего дня. Карл отдал специальный письменный приказ, запрещающий работу свыше десяти часов в день, который был громко зачитан на построении всех, без исключения, отрядов. Но и это не помогало. И отнюдь не жажда заработка была тому причиной. Конечно, для основной массы, получавшей 28-30 рублей стипендии в месяц, деньги были совсем не лишними. Но в принципе, во всех наших отрядах действовала система равной оплаты: после закрытия нарядов заработанная сумма делилась на всех поровну, включая поваров и командиров. Только мы трое в республиканском штабе имели твердую зарплату – командир 140 рублей в месяц, мы с главным инженером – по 120. Кстати, в отрядах средний заработок составлял 160 рублей. И это при том, что на питание в отрядах уходил минимум – совхозы отпускали нам продукты по себестоимости, а вот «штабным крысам» приходилось питаться в ресторане, где было намного дороже и гораздо менее вкусно, да и деньги нам выплачивались областным штабом нерегулярно, из-за чего я регулярно зато ругался с начфином штаба Женей Звягиным – аспирантом Ленинградского финансового института. Хорошо еще, что в Щучинском ресторане нас кормили в кредит, по записи. Маша завела специальную «студенческую» тетрадку, куда заносила все съеденное нами. После получки мы производили расчет.

Мне кажется, что главной причиной чуть ли не нездоровой страсти к работе было самоутверждение. Мы все делали сами – с нами не было «взрослых» наставников: от снабжения, до кладки стен, от чтения чертежей, до приготовления пищи. Большинство из нас никогда не имело дела с физическим трудом, и это был экзамен на жизнеспособность, на способность принимать решения, на способность самому справляться с возникающими перед тобой проблемами. Похоже, именно это – отсутствие опеки над молодыми людьми, каждый шаг которых в обычной жизни в то время был зарегулирован до предела, даже сторожками в общежитиях, которые блюли нашу нравственность, определяло всю нашу жизнь на целине. И отношение к работе, в том числе. Недаром потом именно из наших отрядов выросли крупные руководители республики и ее экономики. Когда Вельо в конце нашего пребывания в Казахстане в то лето подвел окончательные итоги, выяснилось, что производительность труда наших ребят, большинство из которых, повторюсь, до этого никогда кельму в руках не держало, в четыре раза выше, чем местных

профессиональных строителей. Если первый этаж общежития в Котуркуле мы строили три недели, то второй, третий и четвертый возводились за неделю.

.....

Конец нашего пребывания на целине в том году ознаменовался двумя событиями. Первым я бы назвал областной смотр художественной самодеятельности.

В то время каждый вуз имел свой клуб, при котором действовали всевозможные кружки – вокальные, танцевальные, драматические, музыкальные. Естественно, при отборе кандидатов в отряд мы, имея конкурс в несколько человек на место, могли учитывать и художественные таланты конкурсанта. Поэтому в каждом из совхозных отрядов у нас образовался не только небольшой оркестр или группа гитаристов, но и танцевальные и вокальные ансамбли, объявились даже собственные мастера пантомимы. Поэтому, когда замполит областного штаба Женя Карманов сообщил, что нам предстоит дать в областном Доме культуры концерт в рамках смотра художественной самодеятельности области, мы застигнутыми врасплох не оказались. В принципе, программа у нас уже была отработана, когда мы устраивали в Щучинске День Эстонии. Так что вся подготовка заключалась в том, чтобы отобрать лучшие из уже имеющихся номеров. За день до отъезда в Кокчетав собрали всех участников в Боровом, на лесной опушке и сделали прогон. В первой половине следующего дня опробовали сцену Дома культуры. Неожиданности начались за час до начала концерта.

Эстония, да и вся Прибалтика, в то время для советской глубинки были чем-то экзотическим – вроде бы уже Западом. С «их» нравами («Их нравы» - называлась популярная в те года рубрика во многих газетах, где живописались звериная сущность капитализма, в противовес рубрике «Так поступают советские люди») местные были знакомы исключительно по самой правдивой в мире советской прессе. Да еще по области прошел слух о том, какие западные безобразия мы демонстрировали в Щучинске (в основном это относилось к джазовой музыке и року). Короче говоря, за час до начала концерта зал был уже заполнен до отказа. Даже места для жюри оказались занятыми. Когда появилось жюри, мы ахнули: явились собственными персонами все секретари обкома партии, председатель облисполкома, все руководство обкома комсомола, профсоюзные боссы и даже начальник областной милиции. Пришлось сгонять с первых двух рядов заблаговременно явившийся местный молодняк. К счастью, эту функцию возложили не на нас, а на ошалевших работников Дома культуры, явно давно не видавших такого скопища начальства. А за пять

минут до начала концерта ко мне за кулисы протиснулся невысокий паренек, который на чистом эстонском языке объяснил, что их тут четырнадцать человек (тринадцать парней и одна девушка) из Эстонии, они строят элеватор, и попросил как-нибудь провести их в зал, куда уже никого не пускали. Я внутренне похолодел. Дело в том, что мы совершенно не рассчитывали на то, что в зале окажутся люди, понимающие по-эстонски. Наш репертуар был на это не рассчитан. В него входили отнюдь не только «классические» произведения, но и фольклор, в том числе студенческий, содержащий явно не парламентские выражения. Это теперь такого рода лексикой ни в печати, ни со сцены никого не удивишь, а «суперзвезды» эстрады считают вполне нормальным использовать ее даже на пресс-конференциях. В те годы это было совершенно не возможно. Но времени на раздумья у меня не оставалось. Не устроить земляков в зале я не мог, но и допустить, чтобы их реакция стала причиной скандала, тоже нельзя было. Поэтому, проводя всю группу в зал через сцену, и ставя для них целый дополнительный ряд кресел, найденных за сценой, мы успели только предупредить их, чтобы они не подавали виду, что бы на сцене ни происходило.

Ровно в 18.00 мы открыли занавес. На сцене выстроился хор, человек из пятидесяти в нашей форме – темно-зеленых брезентовых рубашках и бежевых брюках. Начали мы с одной из песен Густава Эрнесакса, а затем перешли на песни из репертуара популярных в то время певцов Хели Ляэтс, Кальмера Тенноссаара, несколько песен спели из репертуара одного из любимцев всего Советского Союза Георга Отса. Поскольку исполнение шло по-эстонски, то я выполнял функции не только ведущего, но и переводчика, излагая содержание песен. Особых проблем с этим не возникало до тех пор, пока на сцену не вышел наш квартет. Все его участники отличались не только вокальными данными, но и ростом – далеко за метр восемьдесят. Замечательный бас был у будущего главы правительства Эстонии Индрека Тооме, а вот Тынис Мигуль, который, не уступая Индреку в росте, был втрое больше его в объеме, пел тенором. Для перевода их репертуара мне пришлось включить фантазию. Песню «Сауна тага тийги яэрес» («За баней у пруда») я предварил текстом о том, что в этой песне рассказывается о любви студента к студентке, хотя по оригинальному тексту Микку с Манни занимались в ней тем, что ловили лягушат вдребезги разбитой сковородой. Но дать перевод, близкий к тексту, при наличии в зале областного руководства было абсолютно невозможно, учитывая ставшее нормой ханжество советского общества. А ведь это была еще самая приличная из песен квартета. Сквозь дырочку в занавесе я увидел, что строители элеватора с каждой новой песней начинают все больше сползать с кресел. Наконец, они не выдержали и взорвались хохотом. Я обмер, ожидая, что воспоследует. А воспоследовали хохот всего зала и овация, которой мало кто когда достаивался.

Надо сказать, что и до сих пор зрительный зал не скупился на аплодисменты. Наше «полузападное» искусство здесь никогда вживе не видели и не слышали, только по радио. Для большинства это было открытым проявлением фронды официальной, набившей оскомину культуре «два прихлопа, три притопа». Особенно неистовствовала, естественно, молодежь, в том числе студенты Кокчетавского пединститута. Я уже писал о том, что нам в Котуркульский отряд добавили восемь девочек из этого института. Понятно, что они привели на наш концерт и своих подруг. А когда публика по гоготу не выдержавших льющегося со сцены накала страстей «элеваторщиков» поняла, что исполняются еще и вещи веселые, ее ликование предела не было. Зал сотрясаясь. На лицах начальства я заметил сначала недоумение. Но затем и сановники поддались общему настроению. От души ржал даже первый секретарь обкома партии.

По программе концерт должен был уже закончиться. Но публика требовала продолжения. И мы начали выдавать очередные номера экспромтом. Наконец, наши исполнители спели песню о том, как дедушка лирического героя заразился триппером, потом о том, как дама просит кавалера взять ее, поскольку у нее нецелованные губы, невинность и честь, а, кроме того, у нее еще швейная машинка фирмы «Зингер» и стол для пинг-понга есть. В ответ на что кавалер советует ей засунуть все это в задницу, включая швейную машинку, а если поместится, то и стол для пинг-понга. Разумеется, в переводе это все подавалось иначе, например, последняя песня «Выта минд» («Возьми меня») излагалась как романс о неразделенной любви.

Зал, по примеру четырнадцати случайно затесавшихся эстонцев, стонал и икал. Вдруг встал первый секретарь обкома партии в строгом пиджаке со звездой Героя социалистического труда и повернулся к залу лицом. Тут все замерли, а мы обмерли. Далее последовала речь такого содержания:

- Уважаемые товарищи! Хотя областной смотр художественной самодеятельности еще не закончился, но победитель его уже ясен – это Эстонский студенческий строительный отряд. Он награждается почетной грамотой Кокчетавского обкома партии и облисполкома. Такой же грамотой награждается мужской квартет отряда за исполнение романса о неразделенной любви.

Нам понадобилось все наше мужество, чтобы с достойной момента миной выслушать эту речь, особенно про романс. Эстонский темперамент и эстонское самообладание оказались здесь как нельзя более кстати. Через полчаса они подверглись очередному испытанию, когда на устроенном в фойе Дома культуры после ухода публики импровизированном приеме вручались почетные награды. Зато, когда начальство ушло, мы дали волю своим чувствам. Веселье и танцы продолжались до глубокой ночи. У постороннего непременно сложилось бы впечатление, что бурно

веселящийся молодняк выпил бочку алкоголя. На самом деле, самым крепким напитком на столах был лимонад.

.....

А потом было триумфальное возвращение. Был бал целинников в ресторане «Пирита», которого теперь уже нет – возле кольца напротив монастыря святой Биргитты. На него приехали и рижане, и кокчетавцы, и новосибирцы, и ленинградцы – все, кто был в нашем отряде. Ресторану давно пора было закрываться, но остановить веселье мы не могли. Официанты, зарядив холодильники запасом алкоголя на завтра, ушли домой, оставив двух дежурных. Утром, когда они пришли, в холодильниках не было ни одной бутылки – сухой закон здесь уже не действовал. 120 рублей – месячную зарплату инженера я заплатил из отрядных денег – весь бал оплачивался средствами, которые на это выделил сам отряд из заработанных на целине – только за разбитую посуду.

Из Таллина мы большой группой поехали в Ленинград на областной бал целинника, который проходил в Кировском (Мраморном) дворце. Но здесь все было гораздо более официально и регламентировано. В десять часов вечера торжества закончились, а нам совсем не хотелось расходиться. Мы вывалили из дворца и под аккомпанемент трех гитар устроили танцы на Большом проспекте Васильевского острова, перекрыв движение трамваев и машин. А потом отправились продолжать бал в ресторан «Москва» на Невском. Только часа в три мы вернулись в свою гостиницу «Россия», перед которой запорошенный снегом стоял печальный бронзовый Чернышевский, так и не дождавшийся свободного номера, и в фойе 11-го этажа стали петь под гитару песни, которые пели у костров на целине. Конечно, мы вызвали переполох у дежурных по этажу, апеллировавших к тому, что на этих этажах проживают иностранцы, и мы вызовем международный скандал. Иностранцев мы действительно разбудили. Они вылезали из номеров сонные, с удивлением взирая на разгулявшуюся молодую братию. Но вскоре с интересом подсаживались и даже подтягивали мелодию. Так мы и не сомкнули глаз до утра, отсыпаясь потом в поезде, который вез нас в Москву, на Всесоюзный бал целинников во Дворце съездов. Но в Москве это мероприятие было на редкость скучным, чопорным. И мы, не дожидаясь его окончания, сразу после вручения наград, выкатились на вечернюю Красную площадь, оглашая ее звоном гитар и песнями. Правда, попытки превратить главную площадь страны в танцевальную площадку были решительно пресечены стражами порядка в форме и в штатском.

Так закончилась моя первая целина эпопея. Я вернулся в Тарту. Но прежде, чем продолжить рассказ в хронологическом порядке, не могу не сказать о

роли в моей и моих сверстников жизни человека, которому уже был посвящен один из эпизодов целинной эпопеи – Никиты Сергеевича Хрущева. Без этого будет не очень понятно, как формировалось и менялось наше мировоззрение – мировоззрение целого поколения, к которому маленьким краешком отношу себя и я и которое получило название «шестидесятников».

### **Никита Хрущев и «крах» культа личности**

Заочно я познакомился с Никитой Хрущевым еще в детстве. Его портрет красовался среди физиономий других членов Политбюро ЦК ВКП (б) на всех майских и ноябрьских демонстрациях. Но до смерти Сталина он был лишь одним из «верных соратников» и особого внимания не привлекал. Гораздо более на слуху были Калинин, Молотов, Ворошилов, Каганович. С Калининным все было ясно – он в начале прошлого века был в «ссылке» в Таллине, где работал в паровозо-вагоноремонтных мастерских, ставших потом заводом ртутных выпрямителей имени Калинина. Сумасшедший композитор Кики Блумберг, ездивший по школам и пионерским лагерям, приобщая нас к собственным и чужим патриотическим песням и в шестьдесят с лишним лет женившийся на девятнадцатилетней девочке, тоже не совсем нормальной, спасся от ответственности за попытку совращения малолетних благодаря тому, что его отец – таллиннский врач Блумберг в свое время скрывал у себя Калинина от полиции. В нашем доме звучала особо фамилия Андреева, опять-таки благодаря нашим знакомым по фамилии Хазан. Сестра Доры Хазан, тоже врача и очень милой женщины, была женой Андреева.

Знали мы и Жданова. Не из-за постановлений по журналам «Звезда» и «Ленинград», а потому, что именно этот деятель выступал в дни июньского переворота 1940 года с балкона советского посольства в Таллине, приветствуя новую советскую республику, созданием которой сам же и руководил.

Хрущев выскочил для нас, как чертик из ларца. И, очевидно, не только для нас. Потому что именно стремлением утвердиться и ничем иным я не могу объяснить его доклад на XX съезде КПСС в 1956 году. Но это сейчас. А тогда этот доклад, который полагалось знать только членам КПСС и который сразу же стал секретом полишинеля, произвел впечатление не меньшее, чем взрыв атомной бомбы над Хиросимой.

Те факты «местного значения», о которых рассказывал отчим и за которые я кричал на него, что такого быть не может, что он лжет, объединились в стройную картину чудовищного, не виданного человечеством за всю

историю преступления против собственного народа. С одной стороны, это было страшно, с другой – появилось какое-то чувство облегчения, надежда, что раз это стало достоянием гласности, то повториться уже не сможет. Что дело не в личностях, а в системе, не мог понять не только я, четырнадцатилетний подросток, но и весьма взрослые и зрелые люди. Надо сказать, что и я сохранил эту иллюзию до вполне зрелого возраста.

Нельзя не сказать, что на этом фоне, да и благодаря полному отсутствию информации, контроль над которой сохранялся у партийной верхушки еще несколько десятилетий, совершенно не замеченными прошли для нас события, которые могли основательно подорвать наш оптимизм относительно демократического будущего – расстрел мятежной Венгрии в том же, 1956 году.

У меня хватило мужества извиниться перед отчимом за те гадости, которые я ему говорил.

А вскоре в Роман-газете вышел «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. И я понял, что Макс не рассказывал и сотой доли того, что видел и пережил в лагерях.

К этому времени относится и разговор с его племянником Алексом Левартовским о времени его пребывания в трудовых лагерях, куда он попал вместе с другими бывшими солдатами Эстонского территориального корпуса в самом начале войны и где чудом выжил за колючей проволокой среди тысяч смертей от голода, холода, непосильной работы и болезней при почти полном отсутствии лекарств и квалифицированного медицинского обслуживания.

Через некоторое время после XX съезда стали возвращаться первые реабилитированные. Среди них был и бабушкин двоюродный брат Эльхонон Гендель – дядя Хона. Но он приехал в Таллин только навестить родных и родные места, а потом вернулся в Воркуту. И лишь после его смерти в Таллин вернулась его жена Мария Григорьевна – тетя Маша. В лагерях она не была, ее просто сослали с маленьким ребенком – приемным сыном Адиром. Тетя Маша ужасов не рассказывала. Она так, к слову упоминала о том, как выросшая в обеспеченной семье молодая женщина, не имевшая никакой профессии, да и никогда до тех пор не работавшая, оказалась брошенной в жестокую действительность не просто советской жизни, а советской жизни военных лет, как возила из леса дрова на лошади, а лошадь ее не слушалась. И как какой-то мужик объяснил ей, что она с лошадкой не на том языке разговаривает. Она не поняла, и тогда мужик покрыл лошадь многоэтажным матом, что сразу же возымело желаемое действие. Как, получив лишь домашнее музыкальное образование, стала преподавать музыку в Малмыже, как ее предупреждали

перед появлением в школе проверяющих, чтобы она исчезла – политическая ссыльная в школе!, как, в конечном счете, при всем хорошем к ней отношении в школе ей пришлось уйти, чтобы не подводить тех, кто ей сочувствовал и помогал. Как все это повторялось в Воркуте.

Самое потрясающее, что такая жизнь не сломила ее, и до самой смерти, когда ей было уже далеко за восемьдесят, она оставалась жизнерадостной, оптимистичной и жизнелюбивой.

Мне тогда казалось, что все плохое уже позади, а впереди широкая и светлая дорога. С этой уверенностью я закончил школу, и именно эта наивная уверенность привела меня в партию в 21 год от роду.

Но Никита Сергеевич не дал долго тешиться иллюзиями. Вскоре стали снова избирать в почетный президиум любого собрания, даже производственного совещания дворников, Президиум ЦК КПСС, а затем и Президиум ЦК КПСС во главе с Первым секретарем ЦК КПСС дорогим Никитой Сергеевичем Хрущевым. Не вызывали у меня и моих товарищей восторга и его бряцания башмаком на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и фразы в речах с отповедью американским империалистам типа «Сами насрали, сами и нюхайте!» Уже откровенную ржачку у всего народа породила кукурузная эпопея, к которой я не был причастен ни сном, ни духом – в Эстонии кукуруза вообще никогда не вызревала и выращивалась только на силос, но был награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому кукурузоводу» за совершенно загадочные заслуги. В ту пору не было более популярного героя анекдотов, чем Хрущев. Над ним смеялись все, кому не лень. А между тем официальное его возвеличивание нарастало геометрической прогрессией. Посыпались звезды героя – Брежнев был не первым обожателем наград, превращавшихся в побрякушки. Главными фронтами Великой Отечественной войны становились те, членом Военного совета которых был Хрущев – опять-таки, Брежнев лишь довел все это до гипертрофии. На наших глазах креп новый, но совершенно аналогичный старому культ личности, увенчавшийся знаменитыми словами: «Ну, что, братцы-педерасты, малюете!» в адрес художников на выставке в Манеже и бульдозерами в Битцево. Как ирония судьбы выглядит то, что один из «педерастов» - Эрнст Неизвестный стал автором памятника этому государственному мужу.

Конечно, полное осознание происходившего тогда пришло гораздо позже. Никита Сергеевич был таким же демократом и свободолобцем, как все предыдущие и последующие лидеры Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

## **Снова Тарту**

Так завершился первый год участия студентов из Эстонии в целинном строительстве. К учебе мы приступили с опозданием на месяц. Надо было наверстывать.

Заработанных на целине денег хватило не на долго. Мама снова осталась единственным кормильцем семьи, и мне, в мои почти 23 года было не в мочь сидеть у нее на шее. Как и почти все однокурсники, я пользовался любой возможностью подзаработать. Но появлялась такая возможность далеко не всегда. Именно эти соображения подвигли меня согласиться, когда партком университета предложил вести синхронный перевод на открытом партсобрании, на котором второй секретарь ЦК Компартии Эстонии Артур Павлович Вадер должен был делать доклад о китайских раскольниках – это было время расцвета китайской культурной революции и кризиса советско-китайских отношений, вызванного развенчанием Хрущевым культа личности, который Мао Цзедун воспринял как поношение его собственного культа.

Единственное, чего я не учел, что Артур Вадер («вадер» по-эстонски – просторечное название лисицы, и обладатель сей фамилии в принципе ей соответствовал, ибо несмотря на грузность и сильную «пьющность», был умен и хитер, благодаря чему и стал вторым секретарем ЦК – т.е главным надзирателем и доносителем ЦК КПСС в Эстонии. Обычно эту должность занимал не эстонец, и обязательно не имеющий в Эстонии корней), хотя и был эстонец, но из тех, кого «настоящие» эстонцы именовали «йестлане», то есть потомок эмигрировавших в Россию крестьян, а потому русским языком владел гораздо лучше эстонского. И доклад он делал на русском языке. И хотя все сидящие в зале этим языком в большей или меньшей степени свободно владели, перевод должен был в соответствии с тогдашней национальной политикой быть. И если какой-то небольшой опыт перевода, пусть письменно, с эстонского на русский у меня уже был, то синхронный перевод я вообще делал впервые, а тем более с русского языка на эстонский.

За два часа доклада с меня сошло семь потов, и я был уверен, что по итогам с меня еще и спустят семь шкур, потому что я и по-русски не знал некоторых специфических выражений партийной лексики, а уж по-эстонски – не извольте сомневаться! К моему удивлению меня не только не отругали, но даже поблагодарили и заплатили – по 2 рубля 50 копеек за час. Так началась моя переводческая карьера, продолжающаяся по сей день вот уже 43 года.

Но она тут же сослужила мне и плохую службу.

Дело в том, что одним из обязательных предметов учебной программы был эстонский язык. Большинство моих однокурсников с ним было знакомо достаточно поверхностно, поэтому преподавание велось на весьма элементарном уровне. Я удостоил эти занятия посещением всего один раз, пользуясь тем, что мне как вполне успевающему в учебе комсомольскому активисту было предоставлено право свободного посещения. Т.е. я считался настолько сознательным и близким к человеку коммунистического общества, что мне можно было доверить самому выбирать, на какие лекции ходить, а на какие – нет (без права выбирать, разумеется, какие предметы изучать, а какие – нет, или какие экзамены сдавать, а какие – нет, как во времена нынешнего разгула буржуазной демократии). Но перед зачетной сессией решил, что надо все-таки отметиться, и пошел на семинар. Его вела некая девушка преклонных (как мне тогда казалось) лет пятидесяти по фамилии Вески. Она, естественно, успела начисто забыть один раз почтившую ее занятия присутствием физиономию и была весьма обрадована появлением явно знакомого с преподаваемым ею языком студента. Во время семинара я принял со вполне четкой стратегической целью довольно активное участие в беседе и даже покинул аудиторию вместе с мадемуазель Вески. И тут я решил блеснуть своими переводческими познаниями, в частности, знакомством с основными эстонско-русскими и русско-эстонскими словарями. Составителем одного из самых популярных у переводчиков словарей был академик Михкель Вески. Словарь этот был еще довоенный, а потому и его составитель относился для меня к категории хотя и полезных, но скорее ископаемых. И я задал роковой вопрос, перевернувший всю мою судьбу – я спросил у своей преподавательницы: «Скажите, покойный академик Вески был вашим родственником?».

Я не могу передать словами брошенный на меня взгляд, но презрительно процеженные мне слова помню в точности: «Это мой отец, и он вовсе не покойный». Я готов был провалиться сквозь землю. Но поскольку это было не реально, мне тут же было обещано, что я провалюсь на зачете. Что и произошло. Я не преминул запутаться в эстонской грамматике, система времен в которой не менее сложна, чем в немецкой, а исключений из правил тоже больше, чем правил. И никакой переводческий опыт мне в этих вопросах помочь не мог. Нутром я чуял, как правильно, но почему – объяснить не мог. И какой грамматической категорией или каким правилом это определяется – тоже. В результате я остался на второй семестр второго курса без стипендии.

В марте 1965 года, когда кончились каникулы, я оказался перед проблемой, где взять деньги на жизнь. Решение оказалось неожиданным. Карл Адамсон попросил меня зайти к нему, и, когда я пришел, заняться формированием целинного строительного отряда следующего лета, для

чего меня оформят на работу в ЦК ЛКСМ Эстонии. Через несколько дней я уже был в Таллинне, со мной побеседовали секретарь ЦК Комсомола по школам и вузам Хилья Пуусильд и первый секретарь Таймо Сууресаар, и я был принят на работу исполняющим обязанности заместителя заведующего отделом студенческой, школьной молодежи и пионеров ЦК ЛКСМ Эстонии с окладом в 140 рублей в месяц (после 28 рублей стипендии!). В университете я без особых проблем перевелся на заочное отделение.

Итого чисто студенческой жизни мне было отведено всего чуть более полутора лет. Но очень для меня важных. Во-первых, атмосферой всей университетской жизни, гораздо более демократичной, чем за стенами ТГУ. Университет в те годы стал рассадником инакомыслия, питомником эстонских шестидесятников. Достаточно сказать, что в одно время со мной в университете учились будущие писатели Мати Уньт, Ян Каплинский и братья-близнецы Юри и Юло Туулики, поэт (лучше бы он им и оставался, а не лез в политику) Пауль-Эрик Руммо, будущий профессор одного из университетов США и один из авторов программы экономической самостоятельности Эстонии Микк Титма, видный впоследствии социолог и ученый-правозащитник Прийт Ярве, будущий секретарь Александра Исаевича Солженицына Гарик Суперфин, один из создателей и лидеров общества «Мемориал» Арсений Рогинский, поэт и переводчик Светлан Семенович Семенович, сюда регулярно приезжала Наташа Горбаневская – одна из тех, кто вышел в августе 1968 года на Красную площадь в знак протеста против интервенции в Чехословакию. Впрочем, перечень этот можно продолжать очень долго. И общение с этим людьми стало для меня бесценным приобретением. Я уже не говорю о блестящем преподавательском составе, не только не дистанцировавшемся от студентов в сознании своей значительности, но наоборот, жившем почти что одной с нами жизнью. Не они заботились о том, чтобы обозначить дистанцию между нами, а мы почтительно выдерживали эту дистанцию из уважения к ним. Конечно, айсбергом среди них выделялся ЮрМих – Юрий Михайлович Лотман, но на наше формирование не только как филологов, но и в основном как людей, огромное влияние оказывали Зара Григорьевна Минц, Павел Семенович Рейфман, их ученики - Сергей Геннадьевич Исаков, Валерий Иванович Беззубов. Кафедра русской литературы была местом и наших сборищ, в ее помещения, которые украшал огромный бюст Лермонтова, мы входили не с административным трепетом, но с сознанием причастности к чему-то очень значительному.

## **КОМСОМОЛ ШЕСТИДЕСЯТЫХ**

ЦК комсомола Эстонии находился в то время на площади Победы (а до и после того – Свободы) в здании нынешней горуправы. С центрального его

подъезда был вход в ЦК Компартии Эстонии, а с того, что ближе к Русскому драмтеатру, шла лестница вверх. На первом этаже комсомолу были отданы два кабинета, где находилось управление делами, а т.н. основные отделы и Комитет молодежных организаций располагались на четвертом и пятом этажах.

Отделом студенческой, школьной молодежи и пионеров заведовала секретарь ЦК «по школам» Хилья Пуусильд, вскоре сменившая фамилию на Томбу – ее мужем стал мой хороший знакомый по газете «Молодежь Эстонии» Володя Томбу, которого, впрочем, несколько лет спустя отбила у Хильи учившаяся со мной в параллельном классе в 19-й школе Галя Диомидова.

Хилья запомнилась прежде всего своей добротой. Ее легче было представить себе земской учительницей, чем комсомольским деятелем. Фактически отделом управлял маленького роста, коренастый, с перебитым носом боксера Вельо Румвольт – человек очень энергичный, деятельный, знающий, но явно комплексовавший от нехватки культуры и воспитания. Думаю, что это и привело его к печальному концу – он лет десять спустя просто спился. Школами в отделе занималась Тийу Тали, высокая, крупная с удивительным для эстонки японским разрезом глаз, придававшим ей необычайный шарм. На профтехучилища вскоре после меня пришла Урве Сиккенберг, эффектная молодая женщина, муж которой занимал какой-то крупный пост.

Основным отделом в ЦК был отдел рабочей и сельской молодежи. Именно он считался кузницей партийных кадров. Шефом отдела всегда был второй секретарь ЦК, а второй секретарь, как и в ЦК партии, всегда был не из местных. Его присылали из аппарата ЦК ВЛКСМ. В то время этой рукой, ухом и глазом Москвы в эстонском комсомоле был Леонид Александрович Ананич, впоследствии министр строительства Белоруссии. Он был единственный, кого величали по имени-отчеству и на «вы». Ко всем остальным, в том числе и первому секретарю Таймо Суурессаару, обращались по имени и на «ты».

О Таймо надо сказать особо. До комсомола он был первым секретарем Морского райкома партии в Таллинне. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов говорил о нем: «Самый умный из всех республиканских первых секретарей. Ленина знает, как никто из нас. Только, вот, работает против нас».

Это «работает против нас» выражалось в том, что Таймо всерьез поверил в «оттепель» и вознамерился сделать комсомол, хотя бы только в Эстонии, из организации для молодежи в организацию самой молодежи. Не выступая открыто против «руководящей и направляющей силы» партии,

он попытался придать организации хоть какую-то самостоятельность, хотел, чтобы молодежи было дано право хоть что-то решать самостоятельно. В этом смысле наш приобретенный на целине опыт он оценил очень высоко – ведь там мы впервые оказались вынуждены решать серьезные вопросы совершенно взрослой жизни без всяких нянек.

Партийных бонз поведение и линия, проводимая Суурессааром, раздражали донельзя. Он, например, выступал против принуждения к вступлению в комсомол, а это портило статистику. Он выступал за расширение студенческого самоуправления. И должен сказать, что годы моей учебы в университете были годами просто неслыханного «разгула» этого самоуправления. Студсоветы командовали в общежитиях, студсоветы распределяли стипендии, им подчинялся университетский клуб, они планировали деятельность студенческих кафе.

Нам не дано было понять, что мы живем во время агонии свободы после краткой передышки. И первым из нас жертвой этой агонии пал Таймо. «Внезапно» выяснилось, что у него нет не только высшего образования, но даже и среднего. Только полный профан, никогда не имевший дело с советской системой подбора и учета кадров, а особенно номенклатурных партийных кадров, мог поверить в то, что в личном деле Суурессаара не значилось совершенно точно, что он окончил семилетку, а потому диплома о высшем образовании иметь не мог. Просто, пока он всех устраивал своими действиями, это было совершенно не важно. А когда понадобилось, его обвинили в подделке документов. Таймо сняли с треском. Некоторое время спустя я встретился с ним – он работал заместителем директора Таллиннского экскаваторного завода. Уже тогда попивал. А вскоре спился совсем и в сорок с небольшим - умер. И с кем бы из своих тогдашних коллег я не встречался на протяжении последующих десятилетий, все вспоминали Таймо Суурессаара не только с уважением, но и с теплотой.

Но вернемся к отделу рабочей и сельской молодежи. Заведовал им Аллан Кулласте, заместителями у него были Хейно Сепп и Владимир Вайнгорт. Инструкторами работали Геник Исраэлян, Коля Зинцов, Гена Гречишкин. Честно говоря, по работе мы были связаны мало. Но зато на досуге эти в общем очень деловые парни превращались в неповторимых хохмачей и трепачей. Володя Вайнгорт пришел в ЦК из Нарвы, где был начальником штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки Прибалтийской ГРЭС, Гена Гречишкин был начальником аналогичного штаба на другой ударной стройке – цементного завода «Пунане Кунда», там начальником строительства был отец моего школьного и послешкольного друга Саши Бибичкова.

В отличие от ударных комсомольскихстроек в других регионах Советского Союза, на этих объектах в Эстонии не применялся труд заключенных. Вероятнее всего потому, что больших филиалов ГУЛАГа

здесь просто не было. Поэтому на комсомольских стройках действительно было много молодежи. Другое дело, что к Эстонии она, как правило, никакого отношения не имела.

Середина шестидесятых годов – не лучшее время для советской экономики. Хрущевские эксперименты с разделением и объединением управления отраслями, с посевами кукурузы там, где она, отродясь, не вызревала, наконец, с освоением целины, издревле не паханной, чтобы сохранить плодородный слой хотя бы для пастбищ, с попыткой хоть что-то сэкономить путем огромного сокращения армии, в результате чего майоры становились свинарями, а генералы – директорами совхозов, привели к тому, к чему только и могли привести: в огромной зерносеющей стране мука стала раритетом. Одним из самых популярных в те времена был такой анекдот: в одном ресторане объявили, что приготовят любое блюдо по выбору клиента. Если ресторан это блюдо приготовить не сумеет, заказчик получит огромную сумму отступных. И действительно, повар этого ресторана делал чудеса, выполняя желания посетителей. Но вот однажды пришел человек и заказал ухо белого африканского слона с макаронами. Вместо заказанного блюда ему принесли на подносе деньги.

- Что, не сумели-таки достать ухо белого африканского слона! – торжествующе закричал человек.
- Что вы, - ответил официант, - мы не смогли нигде достать макарон.

Неурожай, вынужденные закупки зерна за границей не лучшим образом сказались на российской деревне. А учитывая, что советские крестьяне наконец-то обрели паспорта и избавились от крепостной зависимости, они во множестве устремились в города и более благополучные регионы. По сравнению с российским Нечерноземьем именно таким регионом была Прибалтика.

Промышленность Эстонии развивалась в эти годы очень бурно. Строились огромные (по эстонским масштабам) новые предприятия – завод ртутных выпрямителей имени Калинина (впоследствии Таллиннский электротехнический завод имени Калинина), новые цеха радиозавода «Пунане РЭТ», электротехнический завод имени Х. Пегельмана, разрастался сланцеперерабатывающий комбинат имени Ленина в Кохтла-Ярве, возникали новые сланцевые шахты, в том числе крупнейшая их них – «Эстония», вслед за Прибалтийской была построена Эстонская ГРЭС. При этом 70 процентов промышленности Эстонии работало на военные ведомства. Два города были вообще закрытыми и не указывались на советских географических картах – Силламяэ, где велась переработка урановой руды и руды редкоземельных металлов, и Палдиски с его атомными реакторами и подводным флотом. Но марку завода РЭТ я встречал на приборах проверки ракетных блоков, изделия завода Пегельмана предназначались тоже в основном для этой «отрасли», завод

им. Калинина оснащал силовыми преобразователями все электрифицированные железные дороги и метрополитены страны. О его значении говорил тот факт, что директором завода был назначен заместитель союзного министра Михаил Гарнык. Заводом «Двигатель», на который ни один смертный со стороны попасть не мог, командовал никогда не ходивший в форме генерал-лейтенант Борис Кузнецов. Генерал-лейтенантом был и директор Силламяэского сланцехимического завода. Оба последних предприятия относились к Министерству среднего машиностроения СССР. Новые предприятия строились в Выру и Нарве, Вильянди и Тарту. На них была нужна рабочая сила, которой в Эстонии не было. Здесь и так доля занятого в сельском хозяйстве населения была самой низкой в Советском Союзе – 23% по сравнению с 32%. Правда, в США в то время этот показатель был равен 7%, а по подсчетам ученых оптимум составлял 2%.

Миграционные потоки 60-х годов – второй волны во многом определяют демографическую ситуацию в Эстонии и сейчас.

Ребята, которых я назвал, были отнюдь не худшими представителями «мигрантов» второй волны. И в значительной степени могли быть причислены к тем, кого называют «шестидесятниками» – диссидентствующим демократам. Речь идет о периоде до 1968 года, до окончательного краха иллюзий после вторжения в Чехословакию, когда часть шестидесятников ушла в никуда, а часть – в подлинные диссиденты. Это были парни из команды Таймо Суурессаара. И когда его убрали, это был для всех нас тяжелый удар. Вместо него первым секретарем стало полное ничтожество, которое называлось Рейн Поллиман. Это было просто пустое место, изредка вопрошавшее партийное начальство: «Что изволите?».

Помню, как в приемную ЦК пришел один бывший сотрудник аппарата, проработавший несколько лет в Финляндии и не знавший о наших переменах. В приоткрытую дверь кабинета первого секретаря он увидел сидящего за столом Поллимана и, не удержавшись, заорал во все горло: «Этот дурак в этом кресле?!»

Поллиман продержался недолго, его сменил Ааре Пурга, которого поначалу, пока не поняла, что имеет дело с более умной разновидностью того же лакейского племени, активно поддерживала молодая эстонская интеллектуальная элита. Но о самой истории этой смены я расскажу чуть позже.

.....

Сразу после окончания периода районных и городских конференций и разразился, если память мне не изменяет, скандал с Суурессааром. Для нас всех это был удар в солнечное сплетение, от которого перехватило дыхание. Сейчас, задним числом, я полагаю, что инициирован он был Сергеем Павловым, которому очень не нравилась политика самостоятельности, проводившаяся Таймо. Если чем-то и блиставший, то только интригантством, Павлов почувствовав в этом реальную угрозу для себя. И действовал он, скорее всего, через ЦК КПСС. Потому что Суурессаару явно покровительствовали два весьма влиятельных в Эстонии человека – первый секретарь ЦК КПЭ Иоханнес Кэбин и первый секретарь Таллиннского горкома партии Вайно Вяляс. Но против лома нет приема!

И именно эти события во многом предопределили бунт, разразившийся на съезде ЛКСМ Эстонии в феврале 1966 года.

Последние недели перед съездом были для нас чрезвычайно напряженными. Запоздывала подготовка доклада первого секретаря. Его готовили все отделы, причем частично на русском, а частично на эстонском языке. Потом все это переводилось на русский, сводилось воедино, а затем переводилось на эстонский. Основным «сводником» был Володя Вайнгорт.

Съезд проходил во Дворце культуры имени Я.Томпа. Накануне прибыли все делегации, каждую из которых встречали с оркестром. Чтобы губы у музыкантов-духовиков не прилипали на морозе к металлу мундштуков, нам выделили на заводе имени Калинина большой бидон спирта-ректификата. Часть его действительно пошла музыкантам.

После полуночи, т.е. уже в день съезда, мы, наконец, закончили все и собрались, чтобы подбить концы в гостинице Управления делами Совмина республики на улице Ратаскаэву (ныне отель «Санкт-Петербург»). Вот здесь-то и нашла применение основная часть спирта. Большинство живших в гостинице делегатов тоже не осталось в стороне от этого своеобразного подведения предварительных итогов. Но нервное напряжение было вызвано не только физической усталостью. Мы инстинктивно чувствовали, что ожидание перемен к лучшему, скорее всего, не оправдается.

Несмотря на бурную ночь, мы наутро были во дворце - как стеклышки. Единственное, что очень уж часто бегали в кафе, чтобы выпить чашку крепкого кофе.

Доклад прошел вяло, а вот выступления начались очень резкие (по тогдашним понятиям, конечно). Главным образом, они были направлены против партийного диктата. Выступающие ратовали за предоставление

комсомолу большей свободы действий, большей самостоятельности. Очень неприязненно было встречено выступление заведующей школьным отделом ЦК ВЛКСМ Розы Курбатовой. Тогда было такое правило, что руководящих работников и членов бюро ЦК ВЛКСМ избрали делегатами на всесоюзный съезд по периферийным организациям. Составлялась разнарядка. Вот, по ней нам и надо было избрать делегатом съезда ВЛКСМ Розу Курбатову, которая начала выступление с того, что она рада впервые в жизни побывать в Эстонии. Публика взбеленилась: никогда здесь даже не была, но будет нас представлять! Чем ближе подходило дело к выборам, тем больше накалялась ситуация. Да еще нам прислали из Москвы нового человека на должность второго секретаря ЦК (предыдущий – Сергей Зайчиков ушел заместителем начальника ГАИ СССР). За те пару недель, что он просидел в кабинете в качестве и.о., никто бы не рискнул сказать о нем ни одного хорошего слова. Выделялся он только гонором.

И вот, выдали бюллетени для голосования. Я зашел в кафе, чтобы выпить очередную чашку кофе, и попал на собрание трех делегаций – Кохтла-Ярвеской, Нарвской и Силламяэской, на котором обсуждали, за кого и против кого голосовать. В это же время в кафе заглянул заведующий отделом организационно-партиной работы ЦК Компартии Эстонии Степан Яковлевич Черников, а поскольку обсуждение было достаточно громким и шло вовсе не в том направлении, которое нам указывала партия, то он решил вмешаться и потребовал прекращения агитации во время выборов. На что Сережа Репецкий спокойно заявил партийному боссу:

- Вот вы и не агитируйте и выйдите!

Черников просто ошалел от такой наглости и действительно ретировался.

Когда подвели итоги голосования, выяснилось, что кандидата на пост второго секретаря не избрали даже членом ЦК комсомола республики, а Курбатова едва набрала количество голосов, необходимое, чтобы стать делегатом всесоюзного съезда.

Это был неслыханный скандал.

На следующий день срочно была собрана партийная группа ЦК комсомола. Второй секретарь ЦК партии Артур Павлович Вадер метал громы и молнии. Кэбин даже потянул его за рукав во время особенно резкой тирады. Вадер, багровый от гнева, нарушая должностную этику, обернулся к первому секретарю ЦК партии:

- Ты что, их защитить хочешь?

- Да нет, - ответил Кэбин, - я боюсь, чтобы у тебя инфаркта не было.

Главное обвинение, которое нам предъявлялось, - в эстонском национализме.

Завершилась эта история осенью, когда почти всем участвовавшим в подготовке съезда аппаратчикам было предложено уйти с комсомольской работы.

Теперь, много лет спустя, можно сказать, что среди уволенных тогда оказалось несколько известных впоследствии борцов за сохранение СССР, но ни один не стал эстонским националистом.

После съезда стало ясно, что с комсомольской работой мне предстоит вскоре расстаться – дело явно шло к уничтожению даже тех зачатков демократии, которые нам до этого были позволены. Поэтому надо было приводить в порядок свои университетские дела. Подготовка съезда не дала мне возможности поехать в феврале на сессию, и у меня образовались хвосты. Их ликвидацией я и занялся.

### **Очередной «зигзаг удачи»**

Воспользовавшись командировкой в Тарту, я за шесть дней сдал более десятка зачетов и экзаменов. В том числе и экзамен по эстонскому языку.

Теперь я уже был научен горьким опытом. Я пришел на кафедру эстонского языка и выяснил, кому из преподавателей я могу этот экзамен сдать. Им оказалась разведенная жена известного тогда эстонского драматурга Бориса Кабура. Но на кафедре ее не было, и мне дали ее домашний телефон. Дело было около 10 часов утра. Я позвонил и порусски сообщил о намерении сдать экзамен. Мадам Кабур любезно поинтересовалась, когда я хотел бы это сделать. Я ответил, что вечером уезжаю, поэтому хотелось бы в первой половине дня. Она удивилась, но сказала, что в 12 будет на кафедре. Там мы встретились и отправились в пустующую аудиторию. И тут экзаменатор задала мне вопрос, поставивший меня в тупик. Она спросила, по какому учебнику я готовился? Почувствовав мое затруднение, она достала из портфеля учебник для пятого класса эстонских школ и спросила, знаком ли я с ним? Я честно ответил, что вижу этот учебник впервые в жизни. (Весь разговор шел на русском языке). Она предположила, что тогда мне вряд ли стоит пытаться сдать экзамен. Но я настаивал на том, чтобы попробовать.

Мне было предложено выполнить упражнение – вставить пропущенные буквы. Я взял карандаш и прямо в учебнике их вставил. Во втором упражнении надо было поставить слово в нужном падеже. Я тем же карандашом написал падежные окончания. Вслед за этим мне было предложено прочитать отрывок из сказки «Али Баба и сорок разбойников». Я в ответ предложил сразу его перевести, что и сделал.

Мадам Кабур взяла мою зачетку, вписала туда пятерку, а затем по-эстонски спросила, говорю ли я на этом языке? Я честно признался, что уже несколько лет даже переводами занимаюсь. Тогда она поинтересовалась, зачем я ей морочил голову, а не сказал сразу, что владею языком? Я, как и полагается еврею, ответил вопросом на вопрос. Я поинтересовался в ответ, по какому учебнику она стала бы меня спрашивать, если бы знала это? Она рассмеялась, и на том мы расстались.

В один из своих таких приездов в Тарту я встретил бывших однокурсников Иру Газер и Виталия Белобровцева. Мы стояли с ними на улице и разговаривали, когда мое внимание привлекла проходившая по другой стороне эффектная большеглазая ..... незнакомая девушка. Дело в том, что в Тарту в университетской среде все знали всех. Там говорили, что если ты назначил девушке на вечер свидание, то надо весь день не выходить из дому, потому что в противном случае, ты ее обязательно несколько раз встретишь в городе, и весь трепет романтического ожидания пропадет.

Ира с Виталием заметили мой взгляд и предложили познакомиться с ней. Мы договорились встретиться вечером в студенческом кафе. И они действительно пришли в кафе с ней. Мы выпили вина, даже танцевали. Ехидная Ира посмотрела на нас и сказала: «А чего бы вам не пожениться?» Я, полагая, что все это шутка, сказал, что не прочь. Что при этом думала девушка, с которой я познакомился от силы часа полтора назад, не знаю, но она тоже согласилась. Тогда нам было предложено, чтобы отказавшийся от этого намерения выставил «сводням» ящик коньяку, хотя бы болгарского (он был самый дешевый). Мы согласились.

Не знаю, сыграла ли свою роль наша патологическая жадность, но в начале августа 1966 года я впервые в жизни вступил в законный брак с девицей Ириной Файнштейн, студенткой того же отделения русской филологии, на котором продолжал свое заочное образование и я. И брак этот продолжался полтора года.

Поскольку квартира на Пикк, 41, где я жил после смерти отчима с мамой и бабушкой имела три расположенные анфиладой комнаты, то мы обосновались у Файнштейнов, занимавших три большие комнаты в пятикомнатной квартире на улице Лауристини («девичья фамилия» - Роозикрантси). Квартира располагалась на третьем этаже дома, стоявшего в тихом зеленом дворе, сочетая одновременно достоинства самого центра города и парковой зоны. В этот внутренний двор выходило также здание Института языка и литературы АН ЭССР, в самом дворе располагался еще один четырехэтажный дом и особняк, в котором находилось Управление по иностранному туризму при Совете министров ЭССР – филиал КГБ,

занимавшийся иностранцами. Теперь в этом особняке – резиденция Таллиннской городской управы.

Но пора представить и моих тестя с тещей. Александр Вениаминович Файнштейн, как и его жена Нелли ( а на самом деле Ноэми) Александровна, был родом из Одессы. И если полковник медицинской службы Файнштейн был типичным одесским интеллигентом, то о его достопочтенной супруге можно было только сказать, что она типичная одесситка. Александр Вениаминович был большим и грузным человеком, обладавшим замечательным тенором. Он и хотел стать певцом, но в Одессе принято иметь более надежную профессию. Поэтому он стал врачом. Врачом он прошел и войну. Закончил ее в Германии начальником медицинской службы воздушно-десантного корпуса, там родилась у них и дочь. Затем корпус дислоцировали в сибирской глухомани. Файнштейнам же через несколько лет таежной жизни захотелось поближе к цивилизации, и Александр Вениаминович перевелся с понижением в должности в Таллинн, где стал врачом дивизии ПВО. Правда, дивизия эта по размерам превосходила иной корпус. Я после окончания срочной службы был приписан к этой дивизии в качестве помощника начальника отделения боевой подготовки зенитно-ракетных войск, а потому имел представление о ее дислоцированных по всей Эстонии бригадах, полках и дивизионах. Достаточно сказать, что только авиационных истребительных полков в составе дивизии было четыре, дислоцировавшиеся в Эмари, Хаапсалу, Пярну и Тапа, радиотехническая бригада, ведавшая всей радиолокацией, и огромное количество полков и дивизионов противовоздушных ракет, покрывавших всю Эстонию от Валга и островов почти до Ленинграда. Если все остальные войска, кроме флота, разумеется, относились к Прибалтийскому военному округу, то дивизия ПВО входила в состав армии ПВО Ленинградского военного округа, поскольку ее главной задачей было прикрывать направление на Ленинград.

Эстония вообще была просто напичкана войсками. В какой-то мере это было понятно – все-таки – западный форпост СССР. На юге и в центре ее зарылась в землю шахтами ракет средней дальности дивизия генерала Тюрьменко. В Тарту базировалась дивизия стратегической авиации, способной достичь территории США. Этой дивизией впоследствии стал командовать будущий первый президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. В Палдиски еще стояло соединение подводных лодок. В Таллинне находилась военно-морская база с дивизионами минных тральщиков, торпедных катеров и эсминцами. Главная квартира Балтийского флота к тому времени уже переехала в Восточную Пруссию, то бишь, Калининградскую область. Кроме того, по Эстонии были разбросаны полки мотострелковой дивизии имени генерала Панфилова.

Один из них – тот, в котором служил Александр Матросов (как я понимаю, ставший героем из-за пьянства – он в таком состоянии упал грудью на пулемет противника), занимал Гондискские казармы, в которых до войны помещалась почти вся эстонская армия.

Это много лет спустя мы узнали, что подвиг 28 героев-панфиловцев, сжегших на подступах к Москве невероятное количество танков и погибших все до единого, был придуман военными журналистами по приказанию политорганов. Тогда меня только поразило, как они могли слышать раззвененные на всю страну слова политрука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!», если все, кто там в это время был, погибли задолго до появления журналистов, и они сами писали, что свидетелей подвига в живых не осталось? Все эти широко разрекламированные подвиги были из разряда штурма Зимнего дворца в октябре 1917 года через арку Главного штаба, придуманного Сергеем Эйзенштейном для пущей художественной выразительности через 10 лет после Октябрьского переворота. На самом деле, подвиги на той войне совершались ежедневно и ежечасно, только без фанфар. Например, подвиг московского ополчения, из которого не вернулся почти никто, но именно эти штатские люди спасли Москву.

Это потом выяснится, что матрос, которого немцы якобы сожгли живьем, привязав к дереву на окраине Таллина, за то что он не выдал военной тайны, во-первых, не мог выдать военную тайну, поскольку ее не знал, а во-вторых, преспокойно жил и пьянствовал где-то в своей саратовской деревне, не подозревая, что в Эстонии его имя носят пионерские дружины и школы.

Бывший командир роты Эстонского гвардейского стрелкового корпуса, работавший потом в Штабе гражданской обороны ЭССР, рассказывал мне, хорошо поддав, как решались вопросы сотворения героев. Из штаба фронта пришел приказ представить за десант на острова в 1944 году на звание Героя Советского Союза одного отличившегося. Претендентов оказалось двое. Один во время десантирования был ранен в руку, но вывел своих людей на берег, закрепился и успешно атаковал противника. Другой тоже десантировался, но ему при высадке осколком оторвало яйца, после чего он, понятное дело, уже никаких активных действий вести не мог. Решение было принято в пользу больше пострадавшего. Именно степень ранения, а не реальные действия сыграли при этом определяющую роль.

В шестидесятые-семидесятые-восьмидесятые годы примерно так же создавались герои труда, об одном из которых – «прославленной эстонской доярке Лейде Пейпс» я еще расскажу.

.....

## **В сельском хозяйстве у нас большой подъем**

Вскоре после возвращения из столь богатого на впечатления свадебного путешествия состоялось памятное совещание аппарата ЦК, на котором нам объявили, что в наших услугах больше не нуждаются. Официально это называлось сокращением штатов. Неофициально – освобождением от эстонских националистов в комсомольской организации республики.

Поначалу я решил вернуться в университет и даже перевелся на дневное отделение. Но сидения на шее у мамы или содержания Ириных родителей не выдержал.

Найти работу оказалось, однако, не просто. Поначалу мне говорили «да», но когда я приносил документы, извинялись, что место уже занято – дошла информация о причинах увольнения с предыдущего места работы. Такая же история повторится много лет спустя, когда я уйду из ЭТА. Это были мучительные месяцы. Наконец, перешедший в политотдел МВД ЭССР Гена Гречишкин посоветовал мне зайти в Министерство сельского хозяйства, где вторым отделом, занимавшимся гражданской обороной, заведовал наш бывший коллега по ЦК комсомола Хейно Сепп. Когда я к нему пришел, то понял, что отдел пока состоит из одного заведующего. А по известному закону начальнику всегда нужно иметь подчиненных.

Хейно тут же повел меня к министру Харальду Мяннику. Маленького роста, компенсировавший этот недостаток избытком энергии и деловитостью, Мянник первым делом спросил меня, какую я хочу зарплату. Я ответил, что много мне не надо, надо столько, чтобы хватило содержать молодую жену. На что Мянник мне ответил, что для молодой жены не хватит и его зарплаты. Я ничего не мог ему сказать – у него ж опыта больше. И мне был положен оклад в 110 рублей в месяц.

В сельском хозяйстве я разбирался примерно так же, как в католическом богослужении и, вероятно, сильно напоминал того присланного из города директора совхоза, который, как рассказывали, первым делом поинтересовался, какая корова дает молоко, а какая кефир. Очень мне помогли войти в курс дела начальник управления ветеринарии Ивар Сойдро, заместитель министра Ильмар Аамисепп, и, разумеется, сам Хейно Сепп.

.....

Для сельского хозяйства Эстонии вторая половина шестидесятых годов стала очень важным периодом. Неудачный опыт волонтаристских реформ

Хрущева, заслуженно получившего прозвище Никита-кукурузник, сменился основанными на экономическом расчете планами реформ Косыгина. Это был НЭП сорок лет спустя, поскольку предусматривалось широкое использование экономических методов и рычагов управления.

В отличие от всего остального Советского Союза, где совхозы на бюджетном финансировании жили гораздо лучше колхозов, в Эстонии колхозы, имевшие гораздо большую экономическую самостоятельность, развивались значительно успешнее, а колхозники жили зажиточнее, чем работники совхозов. (Для тех, кто не застал этого времени, поясню: колхозы или коллективные хозяйства были по экономической форме кооперативами, основанными на общей собственности членов колхоза и управляло ими номинально избираемое самими колхозниками правление (на самом деле его состав определялся партийными органами), совхозы - это государственные хозяйства, которыми, как и любым предприятием, руководили назначаемые властью директора. Основная зарплата в совхозе не зависела от результатов труда).

Успехи эстонских колхозов обратили на себя внимание возглавлявшего тогда правительство СССР Алексея Косыгина и секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству Федора Кулакова. Они одобрили идею в порядке эксперимента перевести все совхозы Эстонии на полный хозрасчет, т.е. создать и в них материальную заинтересованность работников в конечном результате. Экономический надзор за экспериментом был получен Всесоюзному научно-исследовательскому институту экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ), который по такому случаю создавал группу научных сотрудников при Минсельхозе ЭССР. Группа состояла из пяти человек, из которых один числился номинально, чтобы был резерв денег на оплату всякого рода экстренных работ. Мне предложили войти в эту группу – разумеется не потому, что я был крупным специалистом в области экономики сельского хозяйства. Просто ни один сотрудник группы, кроме меня, не владел русским языком в степени, позволяющей составить хотя бы элементарный отчет для находящегося в Москве института. То есть, меня пригласили как переводчика, знающего хотя бы приблизительно сельскохозяйственную терминологию.

Поскольку в это время я уже, наконец, приближался к завершению высшего образования, меня очень устраивала работа в основном на дому, при регулируемом мной самим режиме рабочего дня и рабочей недели.

.....

С дипломом у меня сложилась странная ситуация. Естественно, что тема диплома на отделении русского языка и литературы могла быть только филологической. Но руководство ВНИИЭСХ требовало, чтобы мой

диплом был обязательно связан с сельским хозяйством. Дело в том, что к этому времени состав группы уже изменился, позащитав диссертации ушли на преподавательскую работу двое ее ведущих сотрудников, включая руководителя, а третий, хотя и был кандидатом наук, но зато абсолютно не обладал организаторскими способностями и очень плохо владел русским языком, а потому от выдвижения на руководящую должность категорически отказывался. Так и получилось, что мне пришлось возглавить группу, имея незаконченное высшее образование и двух подчиненных кандидатов наук. Я был назначен и.о. старшего научного сотрудника с условием, что буду писать кандидатскую диссертацию по экономике. Но сперва надо было получить диплом, на который в экономической комиссии ВАККа (Всесоюзной аттестационно-квалификационной комиссии) не смотрели бы, как баран на новые ворота.

После долгих метаний и с помощью научного руководителя моей дипломной работы Павла Семновича Рейфмана была найдена тема, удовлетворявшая обе стороны. Она звучала так: «Крестьянский вопрос в романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина» и журналистике 70-х годов XIX века»...

Вообще тогда предусматривались две возможности окончания вуза – сдача государственных экзаменов или защита дипломной работы. Во втором случае, правда, все равно надо было сдать экзамен по научному коммунизму.

Чтобы получить разрешение писать дипломную работу, нужно было иметь средний балл по всем экзаменам за все годы не ниже 4,0.

От одной мысли, что мне придется сдавать госэкзамен по современному русскому языку, мне становилось плохо, поскольку у меня как специализировавшегося на литературоведении отношения с кафедрой русского языка были далеко не весьма хорошие и при всей моей, в общем, приличной грамотности, зазубрить правила правописания я был не в состоянии.

Но для того, чтобы получить право писать дипломную работу, нужно было приложить немало усилий. В частности, ликвидировать «хвосты», оставшиеся у меня еще со времен учебы в стационаре. В том числе, по латыни. Латынь сдавали на втором курсе.

Мы удобно расположились тогда в предбаннике деканата, где была открыта дверь в кабинет прорекана, и в этом кабинете и происходила проверка знания нами Цицерона и других прославленных авторов, а также латинской грамматики, в которой, как мне казалось, не мог бы разобраться и Калигула, не то что введенный им в сенат его конь. Рихард Михкелевич Клейс признавал трудность преподаваемого им предмета для освоения

нашими не приспособленными для тонкого чувствования душами и не особенно придирался. Он даже закрывал уши на то, что из его приемной доносилась совершенно явственная подсказка отвечающему. Но чем снисходительнее он к этому относился, тем больше росла наша наглость. Наконец, Клейс не выдержал и закрыл дверь. Это случилось именно тогда, когда отвечать начал я. Наша беседа закончилась следующей фразой Рихарда Михкелевича: «Шер, Вы замечательно читаете, у Вас блестящее произношение... Но Вы же ни слова не понимаете!»

За пять истекших лет я изучил всю парадигму местоимения *his, haes, hos*, я даже знал наизусть речь против Катилины. И я победил. Эту встречу Клейс закончил совсем другими словами: «Ну вот, Шер, теперь уже гораздо лучше. Я вам ставлю твердую...тройку с минусом». Мне было все равно, что он поставит – зачет был не дифференцированный, но меня поразила память этого пожилого человека – он помнил, как я отвечал пять лет назад!

Экзамены по политической экономии и философии я сдавал без труда, хотя и Рэм Блум, и академик Михаил Бронштейн были серьезными экзаменаторами. А вот экзамен по истории философии представлял для меня серьезную угрозу. Дело в том, что принимавший его профессор Макаров был откровенный антисемит. А мне нужна была только «пятерка». На мое счастье, он на экзамене увидел меня впервые и не развернул мою зачетку до того момента, пока я не кончил отвечать. И только произнеся заветное для меня слово «пять», он открыл зачетку. Мне не передать словами выражение его лица. Все отвечавшие за мной проваливались с треском.

И я добился своего – мой средний балл к моменту принятия решения, кто будет сдавать «госы», а кто писать диплом, составлял 4,2. Мне разрешили писать диплом. А оппонентом по моей весьма странной тематики работе был назначен один из ведущих советских специалистов по поэтике Петр Руднев. Но мало того, что ему предстояло оппонировать по теме, о которой он мало что знал, он и с работой смог познакомиться только менее чем за сутки до защиты.

Тут я вынужден вернуться во времени несколько назад. Моя семейная жизнь оказалась несколько странной. Поначалу, когда Ира училась в Тарту, а я работал в Таллинне, все было хорошо. Мы встречались на выходных либо там, либо там. Я занимал «высокую» должность, чем можно было похвастать перед подругами. Но я этой должности вскоре лишился, какое-то время был вообще без работы, а по новой работе имел меньшие возможности удовлетворения растущих потребностей. Поэтому наша совместная жизнь начала давать трещину. Особенно после того, как Ира перевелась в Таллиннский пединститут и мы стали жить бок о бок, т.с. постоянно.

Летом 1967 года, когда кризис еще не назрел, мы решили посмотреть историческую родину ее родителей – Одессу. Это было начало августа. За два дня до отлета по Эстонии прокатился небывалый ураган, оставивший после себя целые выкорчеванные с корнем леса. Когда мы ехали в аэропорт, под виадуком на Тартуском шоссе вода заливалась в салон. Но самолет взлетел, и мы в Одессе приземлились.

Это путешествие заслуживает отдельной книги, поскольку Одесса того времени – это особый мир.

.....

На следующий день мы поехали на Шестнадцатую станцию. Здесь обстановка на пляже практически ничем не отличалась от вчерашней, и мы стали привыкать. Вообще привыкнуть можно ко многому. Например, на третий день я уже не обращал внимания на огромную неоновую рекламу над новым многоэтажным одесским Домом мебели. Мебель по-украински – мебель. Именно эти пять букв и должны были изливать зеленый свет на вечернюю Одессу. Но изливали только четыре последние. Первая не горела все три недели, что мы пробыли в Одессе.

На обратном пути, уже подходя к дому, в котором мы обитали, мы на перекрестке улицы Ласточкина с небольшим переулком увидели странно одетого – в длинном кашне посреди лета, в фуражке с белым чехлом – танцующего человека с папкой под мышкой. Он сделал несколько па, потом деловой походкой вернулся к двери, из которой вышел, после чего все повторилось. Еще раньше, чем заметить софиты и камеры, я прочитал вывеску над дверью, из которой выходил странный человек. На ней было написано «Рога и копыта». Уж эту вывеску нельзя было спутать ни с чем.

Романы Ильфа и Петрова во времена моей юности как бы и не существовали. Разумеется, в школьной программе по литературе об этих писателях даже упоминания не было. Как, впрочем, о Достоевском, Бунине, не говоря уже об Ахматовой, Мандельштаме, Пастернаке, Бабеле, Кассиле и других, имя которым – легион.

В Тарту в одном доме с Габовичами жила семья полковника, с сыном которого Женя дружил. Именно этот сын полковника притащил, очевидно, из домашней библиотеки книгу из серийного издания «Союза писателей» 1937 года, для чтения которой мы тайно собирались на чердаке. Читали по очереди, вслух, в строго ограниченной компании. Так я познакомился с «Двенадцатью стульями» и «Золотым теленком». Чтобы уже никогда с ними не расставаться.

По этим произведениям снято множество кинофильмов с очень хорошими актерами. И, тем не менее, для меня первая экранизация «Золотого теленка» с Сергеем Юрским в роли Остапа Бендера остается непревзойденной по проникновению в суть того, что хотели сказать авторы литературной основы. Да и по художественному уровню тоже. Мне кажется странным, что все остальные экранизаторы почему-то сочли романы Ильфа и Петрова произведениями юмористическими, балаганными. Но балаганна в них только фамилия одного из героев. Все остальное, несмотря на вызываемый ситуациями смех, глубоко трагично. Именно так играли Юрский, Гердт, Папанов и все остальные, именно так был задуман весь тот фильм.

Не могу в связи с этим не отвлечься на еще один эпизод, имеющий отношение и к Одессе, и к затронутой теме.

В 1965 году в деревне Веденовка Щучинского района Кокчетавской области Казахской ССР мы с Леной Миндлиным зашли в сельский магазин за какими-то покупками, возможно, табачными. Сельмаги того времени – это больше, чем современные супермаркеты, в которых помимо провизии есть и кое-какие промышленные товары. Правда, и меньше тоже. Потому что из провизии там были в лучшем случае хлеб, селедка, рыбные консервы в томате и карамель. Остальное бывало, его «выбрасывали». Бытовал даже такой анекдот об иностранном туристе, увидевшем огромную очередь в советский магазин. Он спросил, за чем очередь. Ему ответили, что женские туфли выбросили. Он пробился к прилавку, посмотрел и сказал, что такие туфли у них тоже выбрасывают. В сельмагах «выбрасывали» порой даже колбасу. Зато рядом с селедкой лежало хозяйственное мыло, висели дамские панталоны «Дружба» китайского производства с начесом, лишавшие приклекательности любую секс-бомбу, алюминиевые вилки с извивающимися черенками и гнущимися зубьями. Среди всего этого великолепия были и книги. Они стояли на полках уже много лет и явно не пользовались у местной публики таким уважением, как бутылки с надписью «Спирт питьевой» по цене 5руб.87 коп. Там были инструкции по свиноводству, брошюры с очередными историческими речами очередного вождя всего прогрессивного человечества и его близких соратников. Но среди этого «великолепия» мы вдруг заметили скромно изданную книжку, на корешке которой значилось «И.Бабель. Рассказы.» Надо ли рассказывать о нашей реакции на единственное послевоенное издание произведений великого одессита, случайно вышедшее на гребне разоблачения Хрущевым культа личности Сталина в 1957 году. Мы немедленно купили все 10 экземпляров книги, волей малограмотного книготорговского распределителя отправленной в это захолустье, вызвав по возвращению в отряд шквал восторга и нечто вроде аукциона «Сотбис» - столько было желающих обрести сборник, в котором были и «Одесские рассказы», и «Конармия».

Назавтра я решил провести детальную ревизию книжных запасов этого магазина и случайно услышал, как продавщица делилась с подругой впечатлениями от нашей вчерашней покупки:

- Студенты эти, ей Богу, ненормальные. Семь лет стояла на полках какая-то бабель – они налетели и все расхватали!...

Незабываемое впечатление на меня произвели и новообетенные одесские родственники. Двоюродная сестра моей тещи со своим мужем встретили нас с Ирой с распростертыми объятьями. Стол уже был накрыт. На нем, конечно, же, стояли икра из «синеньких», т.е. баклажанов, сотэ по-гречески, рыбка в томате, пирог с мясом и еще с десяток разных блюд, от которых было не оторваться. Когда все это было съедено, хозяйка радостно сказала: «А теперь будем обедать!», и на столе появились тарелки с борщом, не съесть который было бы непростительным грехом. За борщом последовал жареный гусь. Затем десерт – вареники с вишнями, а за ними чай с тортом. Сказать, что я объелся, значит ничего не сказать. Но, очень хорошо относясь к этим людям, я сказал Ире, что был у них два раза сразу – первый и последний. И сдержал обет, чтобы не погибнуть совершенно нелепой смертью от ожорства.

Когда до нашего отлета осталось дней десять, возникла серьезная проблема с билетами на самолет. На нужный нам день еще не начали продавать, но в очереди в кассы Аэрофлота нам нарисовали на руке четырехзначный порядковый номер. Причем каждый вечер надо было являться на переключку, потому что неявившийся терял право на свой номер, а явившийся получал на следующий день - другой. Однако наши номера уменьшались крайне медленно. Мы поняли, что раньше Нового года нам из Одессы не улететь. Тогда мы поехали на Десятую станцию, где отдохали родственники, в квартире которых мы жили и чьим стоящим за пианино стульчаком пользовались. Он был врачом. Покопавшись в списке своих пациентов, он остановился на некоем Банчике, сапожнике по профессии. Тут же, по телефону он выяснил, не шьет ли у Банчика туфли кто-нибудь из аэрофлотских. Оказалось, что «таки да». Еще через полчаса мы получили указания: назавтра в 14 часов быть в городском саду и ждать на третьей скамейке от входа. Когда нам дадут билеты, не забыть дать 25 рублей «на чай». Все именно так и произошло. На нашу скамейку опустилась высокая женщина с большой сумкой и осведомилась, от кого мы. Фамилия Банчика послужила паролем. Вместо отзыва женщина достала из сумки кипу билетных книжек и спросила, куда мы хотим лететь. Узнав, что в Таллинн, она стала перебирать билетные книжки, пока не нашла нужной. Через минуту два заветных билета оказались в моем бумажнике. Я впервые в жизни столкнулся с такой откровенной отлаженной системой коррупции и взяточничества. Впервые понял

природу советского дефицита как средства управления государством и обществом в личных целях.

В феврале 1968 года мы с Ирой расстались. Не могу сказать, что мне этот разрыв дался так уж легко, но детей у нас не было, а все остальное было делом времени. Но у меня появилась новая проблема: где жить?

Мама к тому времени сдала городу трехкомнатную квартиру в средневековом доме с печным отоплением и без горячей воды и получила взамен для себя и бабушки маленькую двухкомнатную квартиру в строящемся жилом районе Мустамяэ, на еще не существующей улице Таммсааре. Пропишись я к ней, и мне никогда не видать своего жилья, меня бы никто и никогда в очередь на квартиру не поставил, потому что там было 28 квадратных метров жилой площади, т.е. по 9,3 метра на человека, а на очередь ставили, если было меньше шести. С другой стороны, бывшая теща проела плешь тестю, чтобы он уговорил меня выписаться от них – ведь я имел право претендовать на часть их жилплощади, хотя у меня и в мыслях такого не было. Выход предложила мамина двоюродная сестра Нуся, работавшая к тому времени в республиканской прокуратуре. Она прописала меня третьим в квартиру, где жила с мамой, но не как члена семьи, т.е. без права на жилплощадь. Полгода такого бомжатничанья дали мне возможность записаться в очередь желающих построить на свои деньги квартиру, а еще через год стать членом создающегося в том же Мустамяэ на улице Эдуарда Вильде, 88 жилищного кооператива. Боюсь, что вся эта механика, людям, не знакомым с советской действительностью, останется непонятной. Но именно таковы были реалии советской жизни, по которой часть моих знакомых ностальгирует до сих пор.

На самом деле, я, конечно же, жил с мамой и бабушкой – мама спала на диване в восенадцатиметровой гостиной, мы с бабушкой – на кушетках в десятиметровой спальне. Условий для «личной жизни», прямо скажем, никаких. А тут еще эта гостиная стала и моим офисом. Да и занимался я дома. Попробовал было заниматься в библиотеке, но тишина действовала на меня усыпляюще. Мне для работы нужны были внешние раздражители. Дома их было в избытке.

Сдав последний экзамен в университете, я получил справку, что мне полагается четырехмесячный преддипломный отпуск. С этой справкой я и поехал в Москву, в Орликов переулок, где располагались и Министерство сельского хозяйства СССР, и мой институт.

.....

Была ли экономика в советское время наукой, я утверждать боюсь. Потому что результат, как правило, должен был получиться тот, что задан партией и правительством. Но иногда ей удавалось сказать и объективное слово, хотя и с риском остаться не услышанной.

Когда я предъявил руководителю отдела доктору экономических наук Масюку полученную в университете справку, он радостно сказал: «Чем быстрее подготовим доклад для Политбюро, тем больше времени у тебя останется на диплом!»

Скажу сразу: у меня на диплом остались две недели.

Три с половиной месяца ушли на подготовку документов к заседанию Политбюро славного брежневского ЦК не менее славной КПСС. Сперва мы подготовили аналитический доклад на 150 страницах. Через несколько дней все его авторы, и я в том числе, получили повеление явиться на Старую площадь к Кулакову. Тот сообщил, что с докладом ознакомился, с нашими выводами о целесообразности распространения опыта хозрасчета совхозов Эстонии на весь Союз согласен, только вот Политбюро документы такого объема не рассматривает, а потому надо все, сказанное на 150 страницах, уложить максимум в пять-семь страниц. И подготовить проект постановления ЦК КПСС на одной странице.

Вот это была работа!

К сожалению, Кулаков вскоре при загадочных обстоятельствах погиб или умер. Косыгинские реформы были сведены на нет. Эпоха застоя, всерьез начавшаяся для меня, как и для очень многих, в августе 1968 года, набирала обороты.

В конце мая или начале июня 1970 года я поехал в Ленинград, чтобы в Публичной библиотеке ознакомиться с тем, что писали о крестьянском вопросе ведущие российские толстые журналы «Современник», «Вестник Европы» и другие в 70-х годах прошлого, а теперь уже позапрошлого века. Поездка стала «роковой».

## **Петербургская повесть**

Если об интернациональной помощи братскому народу Чехословакии трубили все газеты, то о горстке смельчаков, выступивших открыто, да еще на Красной площади, против этого вторжения, можно было узнать только по системе «сарафанного радио». И то, что среди участников акции оказалась запомнившаяся скорее любовью к поэзии и любви, чем к политике, Наташа Горбаневская, стало – для меня, во всяком случае – полной неожиданностью. И заставило еще больше задуматься над тем, что

творится в государстве. Работа во ВНИИЭСХе приоткрыла общую катастрофическую картину положения в аграрном секторе. Нам оставалось – по обещаниям Никиты Сергеевича – чуть больше десяти лет жизни при «развитом социализме» и уже всю жизнь должна была полыхать «заря коммунизма», а люди все так же давились в очередях буквально за всем, от хлеба до холодильников. Впрочем, я вру, за холодильниками в очередях не давились, хотя очереди были длиною во многие годы.

Еще на заре советской власти какой-то умник обозвал профсоюзы «школой коммунизма». Вот они и учили нас коммунизму, когда каждому – по потребностям, выполняя порученную им партией функцию – определять эту самую нашу потребность, распределяя между рядовыми членами общества самый дефицитный дефицит. К нему относились квартиры, автомобили, холодильники, стиральные машины, телефон, путевки в санатории и дома отдыха, туристические поездки, в том числе за рубеж. На эти, как сказали бы сейчас, товары и услуги, в очередь надо было записываться в профкоме, хотя все равно решалось все в парткоме, а то и в райкоме партии и с согласия «недеремлющего ока революции». И от записи, до получения блага проходили, порой, десятилетия. А часто благо так и оставалось не полученным.

Что же касается «ока», то в середине шестидесятых годов отделением русского языка и литературы Тартуского государственного университета был создан продукт коллективного творчества – пьеса под названием «Рабинович». Героями пьесы были Владимир Ильич, говоривший только названиями своих произведений, Феликс Эдмундович, который все три действия лежал на сцене на раскладушке и спал. В ногах у него был карающий меч революции, а под подушкой – недремлющее око революции. В третьем действии Дзержинский просыпался, потому что в окно влетал камень. Он открывал глаза и произносил единственную фразу: «Опять Рабинович хулиганит!». Больше «заглавный» герой пьесы Рабинович в произведении никоим образом не фигурировал. Были там еще великовозрастный мальчик Ваня и его девушка Маша. Ваня пришел к Владимиру Ильичу жаловаться, что Машу изнасиловали два эсера и три троцкиста. На что Владимир Ильич ответствовал: «Что делать? Что делать? Лучше меньше, да лучше!».

Даже сегодняшней театр абсурда это драматургическое произведение вряд ли бы заинтересовало. Но нас оно тогда привлекало тем, что было отражением шизофренического абсурда брежневской эпохи.

Еще во время моей работы в ЦК комсомола меня во время командировки в Тарту попросили зайти в особняк на улице Ванемуйзе, где находился Уполномоченный КГБ ЭССР по Тарту и Тартускому району. Если память мне не изменяет, уполномоченный этот носил благородную фамилию

Лондон. Мне было заявлено, что я допрашиваюсь как свидетель. Но по какому делу – об этом не было сказано ни слова.

Первым делом чекист поинтересовался, какое отношение я имею к дому Габовичей? Я ответил, что столь уважаемое ведомство наверняка знает о моих родственных связях. Далее разговор пошел о том, кто бывает в этом доме. Я сказал, что там бывает столько народу, что перечень займет слишком много времени, и назвал навскидку десяток-другой фамилий. Потом мне пришлось отвечать на вопрос: чем занимаются у Габовичей эти люди? Я честно признался, что разговаривают, читают стихи и даже играют в карты. А в какие игры? В королевский ап энд даун. Похоже, что игра оказалась для чекистов неизвестной, и я стал объяснять ее правила, поскольку сама игра являлась продуктом скрещивания «ап энд дауна» и «червей». Меня прервали, объяснив, что детали того, как берутся взятки и как начисляются штрафные очки не имеют отношения к государственной безопасности. С чем я вынужден был согласиться. Но меня неотвязно мучила мысль, а что же из происходившего в квартире Габовичей могло иметь отношение к государственной безопасности?

Дальше вопросы стали конкретнее: а бывает ли у Габовичей Юрий Михайлович Лотман? Обсуждает ли он с собравшимися политические вопросы? И т.д. Я несколько растерянно отвечал, что если поведение Бенкендорфа в деле Пушкина есть вопрос политический, то - безусловно. Беседа длилась более часа. И следователь, наконец, пошел ва-банк: он показал мне некий документ (не показав, разумеется, подпись), в котором говорилось, что в квартире Габовичей собираются сионистские заговорщики, ставящие целью отделение Эстонии от СССР и избрание Лотмана президентом независимого Эстонского государства.

Похоже, что они и сами не очень верили в возможность написанного, но на сигнал должны были отреагировать – а чем черт не шутит?

Потом мы подоплеку этого «дела» выяснили. У старшего сына Юрмиха Миши была девушка-эстонка, с которой он жил в квартире, которую им снимал Юрмих. Тогда свободное сожителство, не обязывающее ни одну из сторон, еще не было в моде, а потому девушка решила, что Мишу положение обязывает. Он же брать на себя обязательства не горел. Более того, сообщил об этом. Вот по этим мотивам и родился указанный выше документ. Дело, понятно, закончилось ничем. Но неприятные последствия для Миши все-таки имели место: при обыске в его квартире была обнаружена столовая посуда с марками всех ресторанов Тарту. Это тогда спорт у студентов был такой: обеспечивать себя посудой за счет предприятий общественного питания. Правда, спорт не новый. Мне потом тесть рассказывал, что в двадцатые годы в Москве на столовских тарелках была надпись «Украдено в Нарпите», а в ложках сверлились дырочки.

После вторжения советских войск в Чехословакию Юрий Михайлович Лотман был одним из сорока эстонских интеллигентов, подписавших нашумевшее письмо протеста. На документе, с которым я приехал в Ленинград, тоже стояла его подпись – это была просьба допустить меня для написания дипломной работы в фонды Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

Это был первый для меня относительно долговременный приезд в Ленинград. Все предыдущие ограничивались двумя-тремя днями, заполненными в основном беготней по ленинградским музеям и театрам. За несколько лет до описываемых событий я, благодаря Саше Айзенштадту, а точнее, его первой жене, познакомился в Таллинне с ее подругой Инной Чичельницкой. Инна работала в музее-квартире Пушкина на Мойке. Как раз во время одного из моих приездов она повезла меня в Царское Село. Здесь завершалось создание экспозиции в лицее, который еще как музей не функционировал. Инна должна была принять участие в очередном совещании и затащила на него меня, представив мою персону как ученика Лотмана. (Меня самого на такую наглость никогда бы не хватило). И тут же сидевший за столом человек, на которого я обратил внимание потому, что одна рука у него была покалечена, попросил меня высказать свои соображения по поводу только что осмотренной экспозиции. Человеком этот был легендарный создатель и директор музея-заповедника в Михайловском Семен Гейченко.

Вот уж, действительно, большое видится на расстоянии. Я, конечно же, понимал, что Юрий Михалович – ученый с мировым именем. Но это был для меня человек, привычный с детства – очень мягкий, чрезвычайно интеллигентный, несколько чужак в быту, одинаковый в общении и с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, и со студентом второго курса Сенькой Рогинским. Над ним никогда не светился нимб, и подшучивание над ним никогда не воспринималось как нечто оскорбляющее святыню. Он не был для нас, а для меня, может быть, особенно, недоступной холодной звездой. Для большинства собравшихся в тот день в здании Царскосельского лицея это был человек-легенда, непререкаемый авторитет, отблеск личности которого ложился на всех с ним контактировавших, а тем более, учеников. Судя по всему, ожидалось, что буду не говорить, а изрекать. Осознав это, я похолодел от ответственности момента. Не для себя – я здесь как личность не играл никакой роли, но как ученик САМОГО Лотмана я мог опозорить своей глупостью и некомпетентностью учителя.

Честно говоря, я не помню, что пробормотал. Кажется, насчет одного документа, который выбивался из хронологического ряда, посоветовав переместить его в другой зал. Но стыд, который испытал от несоответствия того, кем я являлся, тому, чем казался, помню до сих пор.

Раз уж был здесь упомянут Семен Гейченко, не могу отказать себе в удовольствии рассказать о некоторых событиях, связанных с человеком, о котором ходила такая эпиграмма: «Не так Пушкин был умен, как нынче Гейченко Семен».

Тартуские русские филологи во время летних каникул любили подрабатывать экскурсоводством в Михайловском. Знаменитый рассказ Сергея Довлатова – конечно же, не документ, а художественное произведение, во многом вобравшее в себя и их рассказы. Как известно, в Таллинне Сергей оказался под влиянием Михаила Рогинского, работавшего в то время в газете «Советская Эстония», а брат Миши – Арсений учился курсом старше меня.

Поскольку Пушкин для советской власти был не опасен, более того, его тяжелая судьба раскрывала всю мерзость самодержавного строя, не терпевшего гениев, то ознакомление с жизнью и деятельностью Пушкина самых широких народных масс всячески приветствовалось партийными и советскими органами. Музей-заповедник в Михайловском – замечательный без всякой иронии и ставший таковым благодаря беззаветности и Семена Гейченко и подобранной им команды пушкинских фанатов-единомышленников – стал местом массового паломничества этих самых народных масс.

Некоторая часть этих масс успела давно позабыть заучивавшийся в школе наизусть отрывок из «Евгения Онегина» об отморожившем пальчик мальчишке-шалуне, и личность самого Пушкина столь же давно заволокло флером похмельного тумана. Во время экскурсии по пушкинским местам им явно вспоминалась только фраза «Выпьем, милая старушка...» и перед глазами возникал магазин около Святогорского монастыря, где останавливались автобусы и откуда начиналась экскурсия.

Естественно, что эти слушатели особого восторга у экскурсоводов не вызывали. И вот, чтобы не скатиться и самим до уровня своих «гостей», работавшие в Пушкинских Горах студенты стали вести негласное соревнование: кто втюхает очередной такой экскурсии больше совершенно фантастических небылиц.

Лично мне довелось быть свидетелем двух таких розыгрышей. Во время первого из них, не помню уже, кто точно: Леня Миндлин, Миша Билинкис или Сеня Рогинский, проводя экскурсию мимо канавы, которую могла бы вброд перейти курица, рассказывал, что в этом пруду от несчастной любви к Александру Сергеевичу Пушкину утопилась крестьянская девка Акулька. После такой байки приходилось немедленно стремглав покидать

экскурсионную группу, чтобы не подвести экскурсовода, повествовавшего при этом «с ученым видом знатока».

Вторая шутка оказалась более жестокой. Как известно, в Михайловском перед господским домом растет дуб. На этом дуб проказники-студенты намотали коровью цепь, к коей приковали любимого гейченковского кота. Кот, естественно, ошалело мяукал, а экскурсоводы-хулиганы рассказывали очередной группе (разумеется, при этом строго учитывались ее состав и интеллектуальный уровень), что это – тот самый «у Лукоморья дуб зеленый», который описывается в «Руслане и Людмиле», а вот и кот ученый, который «сказки говорит», только мы кошачьего языка не понимаем, а Пушкин понимал.

Кончилось это тем, что Гейченко хватился своего кота и стал его искать. Наконец, он по мяуканью нашел его. И вот ночью по Михайловскому разносился стук молотка. Это Гейченко, держа покалеченной рукой зубило, расклепывал цепь на своем любимце. О расплате за эту выходку ребята никогда не рассказывали. Впрочем, зная Гейченко, можно предположить, что расплата не последовала.

Я очень рад, что в 80-е годы сумел вместе с нашими соседями и друзьями Володей Зиновьевым, Инной Васильевой и их детьми снова попасть в эти изумительные места и показать их своему сыну до того, как нас отделила от Михайловского государственная граница...

Чтобы объяснить, чем я был так занят эти две недели в Ленинграде, я вынужден вернуться на год-полтора назад. Как я уже упоминал, в этом городе, в огромном доме, занимавшем целый квартал Суворовского проспекта между 8-й и 9-й Советскими улицами, жила двоюродная сестра моей мамы Мария Ефимовна Валлерштейн. Лично кухни были знакомы только в раннем детстве, у обеих связанным с Баку. Потом их разделила почти та же та же государственная граница, что и меня сейчас в Михайловском. Бабушка с мамой вернулись в Эстонию, Манина семья – в Питер. Маня была старше мамы. Он успела в Баку поучиться некоторое время в университете, куда бежали от революционных бурь лучшие петербургские и московские профессора. На филфаке, на котором училась Маня, их кумиром был ученый и поэт Вячеслав Иванов. Кстати, его «башня из слоновой кости» в Петербурге находилась почти рядом с домом, в котором теперь жила Маня. Вместе с Маней учился будущий видный литературовед Виктор Мануйлов, легендарный рассказчик и ученый Иракий Андронников. Это от Мани я услышал впервые, как в 30-е годы растерянный Андронников, безуспешно попытавшийся записать свои пользовавшиеся огромной популярностью пародийные рассказы, недоуменно бродил по комнатам редакций детских журналов «Чиж» и «Еж», где сотрудничали молодой Маршак и другие замечательные детские

и не очень поэты и писателя, задавая всем один и тот же вопрос: «Я, наверное, дурак?» На что «чижисты» и «ежисты» откликнулись тут же четверостишием:

На тревожный вопрос Ираклия:

«Вы скажите, друзья, не дурак ли я?»

Отвечали друзья ему так:

«Ты, конечно, Ираклий, дурак!»

Там, в Баку, Маня познакомилась с братом и сестрой Смогловскими – Шурой и Адой. Шура рисовал, Ада замечательно пела. Они были родом из Новониколаевска, как тогда назывался нынешний Новосибирск и стали плодами любви ссыльного польского шляхтича Рыдз-Смогловского, дворянство которого не мешало ему занимать прозаическую, но весьма хорошо оплачивавшуюся должность бухгалтера на железной дороге, и русской мещанки Екатерины Тимофеевны, кою он в состоянии подпития и попрекал порой низким происхождением, убеждая, что она должна гордиться тем, что ее осчастливил благородный пан. Впрочем, по дошедшим до меня рассказам, Екатерина Тимофеевна была добрейшей души человеком и на мужнины причуды не реагировала. Зато его работа на железной дороге позволила им получить для эвакуации из Новониколаевска перед отступлением Колчака целый вагон, который цепляли то к одному, то к другому поезду. В одном из них яркой и эффектной Адой увлекся купец-азербайджанец и стал уговаривать семью ехать в Баку, где он поможет им устроиться. Правда, сам он сейчас ехал не в Баку, но надо будет на базаре найти его брата, сказать, что прислал Ахмед, брат даст им кров и все прочее. Так они и сделали. Более того, нашли брата Ахмеда и тот, недоумевая, привел их в двухкомнатную квартиру с проходными комнатами, где жила жена «богатого» купца с детьми. Но делать было нечего, и в проходной комнате пришлось на время обосноваться.

Шура неплохо рисовал, но еще лучше рисовался. И, как я понимаю, произвел-таки на Маню поначалу впечатление. Во всяком случае, брат и сестра влились в филологическую компанию Мани. А вскоре в этой компании появился еще один приятель Шуры – Виктор с греческой фамилией Ильгисонис. В его жилах действительно текла греческая кровь, но помимо этого еще русская и еврейская. Потом Ада вышла замуж, родила сына Диму Давидовича. Но влюбленный в нее Ильгисонис не терял надежды. Он, правда, уехал в Москву, поступив в Политехнический институт. Но когда Ада (а точнее, Августа Григорьевна Давидович) разошлась со своим первым мужем, настал час его торжества, длившийся много десятилетий. С Маней они снова встретились, когда переехали в Ленинград.

Маня за это время успела побывать замужем не раз. Для нее в ту пору главным содержанием ее жизни был женский успех, она кружила головы и была тем счастлива, порхая по жизни яркой бабочкой. Материальное положение ее мужей обеспечивало ей безбедную жизнь. Этот свой стиль жизни она сохранила до конца, даже когда была уже тяжело больна. С моей мамой она встретилась в самом начале шестидесятых годов, а вскоре приехала в Таллинн. Острая на язык Мария Григорьевна Гендель, взглянув на нее, сказала: «Маня, вы выглядите, как цыганская лошадь. И так же громко писаете». На Мане действительно висели в три ряда по всему животу бусы, звякали браслеты, стучали об стол многочисленные кольца и перстни. При всем этом она была очень добрым и душевным человеком, страдавшим уже в ту пору от одиночества. В бурные года было не до детей, а когда женские утехи отошли на второй план, оказалось, что детей уже заводить поздно. И она всей душой прилепилась к дочерям подруги детства Ады – Вале и Ляле, а затем и появившейся после долгого перерыва Лене.

Когда у Вали, вышедшей замуж за очень талантливую художника и искрометно остроумного человека Диму Обозненко, был трудный период в жизни, Маня посоветовала ей съездить в Таллинн, чтобы отвлечься. Поскольку Марья Григорьевна Гендель жила одна в довольно большой комнате в центре города, на улице Виру, 18, договорились, что Валя остановится у нее. Меня же тетя Маша попросила быть гидом Вали по городу. Я показывал ей Таллин, и мы даже сходили вместе в варьете ресторана «Таллин», благодаря Сашке Айзенштадту, который работал там администратором. Для непонятливых скажу, что в советские времена попасть в ресторан можно было либо по благу (знакомству), либо дав взятку швейцару, как ни анекдотично такое звучит в наши дни. А чтобы просто так с улицы – ни, Боже упаси! Знакомство с каким-нибудь официантом ценилось выше, чем с любым светилом науки, и даже эстрадным певцом.

Валя уехала, а через некоторое время в Таллин, на постой к той же Марье Григорьевне собралась средняя сестра Ляля, а точнее, Лидия Викторовна. С ней я уже был мельком знаком.

У жены Саши Айзенштадта была подруга Таня Романенко, дочь командира расквартированной в Таллине дивизии. Таня поступила в один из ленинградских институтов и нуждалась в жилье. Сыграв к обоюдному удовольствию роль посредника, я устроил Таню на жительство к Мане. Она обитала в большой, как мне тогда казалось, коммунальной квартире, на пять семей и имела половину когда то одной из парадных комнат этой квартиры. Во всяком случае, лепнина розетки бывшей люстры, находилась у перегородки, отделявшей ее от ближайших соседей. Таня сняла угол, пополняя не очень толстый пенсионный кошелек Мани, бескорыстно

исполнявшей еще обязанности библиотекаря жэковской (ЖЭК – жилищно-эксплуатационная контора) библиотеки. И надо сказать, что библиотеке этой могли позавидовать многие гораздо более солидные, ибо книги Маня подбирала не только со знанием, но и с любовью.

Я обычно до этого тоже останавливался у Мани во время приездов в Ленинград. Но тут я приехал, а Маня оказалась за городом, в комнате обитала одна Таня, которая сказала, что мое присутствие ее вовсе не стеснит. И на несколько дней мы оказались с Таней тет а тет. Ждущих пикантных подробностей разочарую. Их просто не было. Более того, я до сих пор не знаю, входили ли они в Танины планы. Однажды, когда мы вернулись на Суворовский после прогулки по городу, раздался звонок в дверь. За ней стояла очень милостивая девушка или молодая женщина, которая сказала, что пришла за своей юбкой, которую Маня давала своей портнихе для каких-то швейных операций. Мы обменялись несколькими словами, и гостья ушла, взяв юбку. Спустя тридцать восемь лет, эта гостья призналась мне, что Маня впоследствии спросила у нее, о впечатлении от меня. Когда та сказала, что впечатление осталось довольно хорошее, Маня с гордостью заявила: «Говна не держим!»

Полагаю, что именно тогда в Маниной голове родились матримониальные планы относительно меня. Я к тому времени был с Ирой уже год, как разведен. Милая гостья тоже разошлась с первым мужем – талантливым художником, внуком чрезвычайно известного театрального художника Александра Яковлевича Головина, но увы, пристрастившимся к «зеленому змию». От этого брака родился сын, тоже Александр, которому к тому времени было шесть лет.

Мать и сын жили весьма трудно материально. Ляля окончила Гидрометеорологический институт по специальности «Гидрология». Работала в Ленгипрогоре – институте проектирования городов. На специальности такой настоял папа, считавший, как большинство технарей, явно гуманитарные наклонности дочери делом несерьезным. Работа в этом учреждении была свызана с разъездами и командировками, весьма обременительными для женщины с маленьким ребенком. Поэтому Ляля поступила в аспирантуру, где было свободное расписание. Ребенка, привыкшего к тому, что мамы целыми днями нет, это обстоятельство сильно удивило, и он даже спросил у мамы, работает ли она. На что Ляля дала положительный ответ. Тогда сообразительный Алик заявил: «А, знаю, ты у меня мамой работаешь!»

Так вот, этой Ляле Маня посоветовала тоже съездить на недельку в Таллин, отдышаться. Роль гида и тут отводилась мне. Визит состоялся летом 1969 года. Первая его часть проходила в Таллине. Мы ходили по Старому городу, забрели в Кадриорг, в том числе и к тогда малопопулярному у

публики Нижнему пруду. Цвела сирень. И тут произошло то, что произвело на меня неизгладимое впечатление, и при моих воспоминаниях о чем, моя жена до сих пор приходит в ярость. Глядя на ароматные цветущие кусты интеллигентная до мозга костей Ляля произнесла задумчиво: «Цветень сирет!» Смущению ее не было предела. На меня же, уже в то время грубияна и охальника, оговорка эта произвела эффект разорвавшейся бомбы и продолжает звучать в мозгу уже которое десятилетие.

Но мои беззаботные деньки кончались. Надо было ехать в Тарту сдавать сессию, да еще мама попросила меня помочь ей в освещении юбилейного Праздника песни и танца, который в тот год проходил там, где состоялся сто лет назад первый - в Тарту. Певческая эстрада – центр праздничных событий находилась в излучине реки Эмайыги, неподалеку от дома в Тяхтвереском парке, где жили Габовичи.

Дины к тому времени уже не было в живых. Она умерла в 53 года, из которых 13 лет ее пожирал цирроз печени, причиняя невероятные муки. Женя женился на старшей дочери в ту пору довольно известного писателя Григория Михайловича Скульского Зое, и у них вскоре родился сын Боря. Затем Женя, закончив университет, поступил в Москве в аспирантуру МГУ к знаменитому алгебраисту профессору Курошу, Зоя, получив диплом врача стала заведовать сельской больничкой в Лаэва, в 25 км от Тарту. Вскоре и они разошлись. Женя встретил в Москве коллегу по аспирантуре Олю Иванову, походившую на Зою только крайне малыми размерами, а затем на свет появилась маленькая Дина.

Яков Габович после смерти жены резко изменился. Он не терпел одиночества. Вокруг него кишела молодежь – студенты, причем вовсе не математики. Дом превратился в своего рода студенческий клуб, где ели, пили, спали самые разные, порой совсем не знакомые хозяевам люди. Соседка Марья Павловна умерла еще до смерти Дины, как и жила – тихо-тихо. Мы с Женей ее хоронили. Причем ее отпевали в церкви, что, по тем временам, было почти неслыханно. Когда мы заносили гроб в Успенский собор в Тарту, кто-то меня заметил и донес в партком университета, что я отравлен религиозным опиумом. Нет худа без добра: в советском паспорте неизменно присутствовала пятая графа – национальность. Поэтому людей моей национальности именовали инвалидами пятой группы. Именно принадлежность к этой пресловутой группе нехристей сняла с меня обвинения в нарушении партийного устава, запрещавшего членам КПСС верить в Бога.

Но квартира у Габовичей была большая, и я предложил Ляле поехать в Тарту вместе со мной, посмотреть нашу мать – ТГУ и вообще этот студенческий тогда город. Что и было сделано. Ляля поселилась в

последней их комнат – маленькой, из которой был выход на открытую террасу. Как-то после очередной прогулки она легла отдохнуть, и в это время зазвонил висевший на стене телефон. Вообще в квартире было два аппарата. Но по настоятельному в гостиной разговаривать было невозможно, потому что там всегда стояли ор и гвалт. Поэтому, когда Ляля открыла глаза, она увидела на пороге немолодого лысого мужчину в одних семейных трусах с рыже-седой волосатой грудью. Увидев ее, мужчина прикрыл, как ей показалось, грудь руками, и стал извиняться. Ляля подумала, что за свой вид. Но оказалось, что мужчина, а это был хозяин квартиры Яков Габович, прижимает руку к сердцу не для прикрытия наготы и извинения просит не за свой столь обычный для здешних завсегдатаев вид на него, а за то, что потревожил сон юной леди, решив ответить на телефонный звонок из этой комнаты.

Сделав в Тарту все дела, мы вернулись в Таллин, и вскоре Ляля уехала. Естественно, приехав в Ленинград писать диплом, я нанес визит. А затем мои дни стали строиться по шаблону: с утра и до шести часов вечера я сидел в читальном зале Салтыковки, обложенный томами толстых журналов прошлого века, делал выписки, копировал таблицы подушной подати, выкупной стоимости земельных наделов, долгов крестьян по выкупным и т.д. И что-то у меня начинало не сходиться с официальной оценкой, или, точнее, трактовкой земельной реформы 1861 года, ликвидировавшей крепостное право в России за пределами Прибалтики, где это произошло на 42 года раньше.

В шесть часов я выходил на Невский и доходил до Лиговского, поднимался на четвертый этаж дома номер 51 и звонил у двери квартиры с роковым номером 13. Следующие несколько часов проходили в интеллектуальных беседах, а порой, и в творчестве. Ляля сотрудничала в то время в объединении поэтов и художников «Боевой карандаш», выпускавшем сатирические плакаты. Одним из его лидеров был Дима Обозненко. Он-то, зная гуманитарные склонности Ляли и писание ею в девичестве стихов, и привел ее в эту компанию. Двух- или четырехстишие к плакату приносило 40 рублей дохода. Это при том, что аспирантская стипендия не дотягивала до ста рублей в месяц. Поэтому Ляле приходилось к поэтическим обязанностям относиться весьма серьезно. Он не могла ждать, когда ее посетит вдохновение – плакат должен был поступить в издательство в срок. И вот, как раз в это время Дима нарисовал такой плакат: дворник под проливным дождем поливает из шланга клумбу. Первые две строчки подписи Дима придумал сам: «Нам на дождик наплевать, Приказали поливать!» Нужны были еще две. Я, похихикав, экспромтом продолжил, скорее, чтобы поехидничать над поэтическими муками Ляли: «Хорошо, что поливает, а не трестом управляет!», отметив про себя богатство столь нетривиальной глагольной рифмы, использование которой все поэты, кроме Пушкина, считали абсолютно недопустимым. И правильно. Самое

удивительное, что именно этот корявый опус стал моим единственным напечатанным за всю жизнь поэтическим произведением. Правда, под псевдонимом «Л. Головина». Часов в десять вечера я покидал гостеприимный дом на Лиговке и топал на Суворовский мимо Московского вокзала. Однажды меня у главного входа в вокзал окликнул женский голос. Я обернулся и увидел совершенно пьяную худую бабу, сосавшую какой-то пряник и пускавшую слюни. Из ее жестов я понял, что она предлагает мне - за деньги, конечно (полагаю, не очень большие) - все радости секса с ней. Думаю, что многие известные в то время стайеры не смогли бы меня догнать – я помчался, как пуля, слыша за собой скорбный вопль: «Молодой человек, куда же ты!»

Две недели пролетели в трудах и отдохновениях. Мне кажется, что я больше всего походил в это время на собаку на сене. Во всяком случае, точно разогнал своим постоянным присутствием всех Лялиных поклонников, а может и более серьезных кавалеров, не дав ничего взамен.

Перепечатывать свой труд я закончил в ночь накануне защиты. В шесть утра (защиты начинались в десять, но я был не первый) я отнес переплетенную работу Петру Рудневу. Часов в двенадцать дошла очередь до меня. Я изложил суть труда и по лицам сидевших в экзаменационной комиссии Лотмана, Клейса, Смирнова и представителей других вузов Эстонии понял, что они ничего не поняли, кроме того, что реформа 1861 года находит у меня несколько другую трактовку, чем давали официальные источники, но ни та трактовка, ни эта, с литературоведением ничего общего не имеют. Общее с ним имела только последняя глава моей дипломной работы в 35 страниц из 190, где речь шла о романе «Анна Каренина» и Левинских планах переустройства деревни. Официальный оппонент Руднев вынужден был заявить, что впервые сталкивается с таким сложным случаем, когда не в силах оценить все достоинства представленной работы, поскольку ее не понял, а потому предлагает поставить оценку «хорошо». Вся комиссия с радостью поддержала это предложение. И я, уже обремененный высшим образованием (экзамен по научному коммунизму, который был впереди, я уже преградой к этому не считал), остался слушать, как проходит защита у моих однокурсников.

Теперь предлагаю добравшемуся до этого места изнуренному читателю учесть два обстоятельства. Во-первых, в те времена кафедра русской литературы ТГУ гремела на весь мир, чего нельзя сказать о кафедре русского языка. И это обстоятельство не зажигало сотрудников языковой кафедры любовью к сотрудникам литературной. На что литературоведы отвечали полной взаимностью. Но на защите дипломов комиссия была одна и специальность мы получали одинаковую - филолог, учитель русского языка и литературы не зависимо от специализации в ходе учебы.

Во-вторых, в составе государственной комиссии обязательно присутствовал специалист по технике безопасности.

Так вот, в тот день защита диломов ознаменовалась двумя протуберанцами страстей. Первым, когда у девушки, выбравшей темой диплома классификацию названий животных в русском языке, Павел Семенович Рейфман, давась от смеха, но на полном серьезе спросил, почему она к одной группе относит льва, буйвола и бизона? Я не помню весьма подробного и серьезного ответа на этот вопрос, проникавший в самые глубины лингвистических тайн современной русистики, но значимость спрашиваемого и вообще всей работы для судеб гуманитарной науки в стране стала нам совершенно ясна. Соответственной была и реакция.

Второй всплеск произошел тогда, когда одна из дипломанток по неосторожности произнесла фразу: «Продедаем такой мысленный эксперимент...»

Пожилой эстонец – специалист по технике безопасности, которому на защите у филологов, естественно, делать было совершенно нечего, уловив только слово «эксперимент», очнулся от дремы.

- А какие правила техники безопасности вы при этом соблюдаете? – радостно завопил специалист по ТБ.

И очень огорчился, когда ему разъяснили, что при мысленном эксперименте соблюдается только одно правило – не перегружать мозги.

На торжественное вручение дипломов я из-за природного отвращения к массовым торжественным сборищам решил не идти, а потому через пару дней пошел к проректору и, объяснив, что уезжаю в длительную командировку, попросил отдать мне диплом. Что и было сделано.

В августе я с моими приятелями Любой и Леной Абаренковыми решил совершить круиз на Кижы. И туда, и обратно путь лежал через Питер. Зашел я на обратном пути и на Лиговский. Это было 2 сентября 1970 года. На следующий день Алик пошел третий раз в первый класс, а мы отправились в ЗАГС подавать заявление. Нас записали на 4 ноября. Мы пришли и тут не удержавшись от нарушения строгих правил советского ЗАГСа. Дело в том, что обручальное кольцо, надетое во время первой свадьбы, никак не желало слезать с моего безымянного пальца. Во время поездки в Чехословакию я даже повис на нем, перелезая за мячом через забор, увитый колючей проволокой. Шип проволоки попал между кольцом и пальцем. Кольцо до кости врезалось в палец, но не лопнуло и не слезло. И после нескольких неудачных попыток снять его с мылом, с ниткой я оставил всякую надежду. Поэтому в ЗАГС мы явились оба с уже надетыми кольцами. А поскольку мы очень просили сотрудницу ЗАГСа не

устраивать официальную помпу с традиционными напутствиями, что брак – это хрустальная чаша, которую нельзя разбивать, то она просто попросила нас и свидетелей расписаться в книге и поздравила нас. После чего мы отправились на Лиговский на чисто семейный сабантуй, после которого мы сели в поезд и отправились в Таллин.

Но тут надо опять немного вернуться назад. После подачи заявления резонно было мне познакомиться с Лялиными родителями. И мы пошли на улицу Халтурина – бывшую и нынешнюю Миллионную. Название это не случайно. Улица ведет от Дворцовой площади мимо собственно Эрмитажа к Марсову полю и застроена скорее дворцами, чем домами. До октябрьского переворота здесь жили потомственная и высшая служивая знать, да несколько миллионщиков из купцов и заводчиков. В частности, в доме, где обитали Лялины родители, жил и отрекся от престола великий князь Михаил. В квартире, где они жили – табачный фабрикант Богданов. Точнее, Ада Григорьевна, Виктор Константинович и три их дочери многие годы прожили в одной комнате и куске коридора разделенной на две богдановской квартиры, причем в этой ее половине ныне жили в общей сложности восемь семей или тридцать три человека.

Квартира находилась на четвертом этаже. Однако, чтобы определить высоту подъема по лестнице (лифт не работал), нужно умножать не на привычные нам 2 м 70 см на этаж, а по меньшей мере на четыре с половиной метра – таковы были в доме потолки. На звонок нам открыли дверь и я чуть не грозулся от неожиданности – я увидел теряющийся вдаль широченный коридор, заставленный сундуками, тазами, велосипедами, заполненный играющей детворой. В конце коридор, почти не меняя очертаний, переходил в кухню с пятью четырехкомфорочными газовыми плитами и одним краном холодной воды над чугунной раковиной. На рубеже перехода одного вида помещения в другой стояла оштукатуренная, как я подозреваю, фанерная будка «туалета» на одно очко. Даже в армии одно очко полагалось на каждые семь человек. А здесь их было 33! Естественно никакой звукоизоляцией стенки этой будки не обладали, так что пользоваться заведением надо было с крайней осторожностью, дабы не помешать варке супов и приготовлению других блюд.

Я не мог представить себе, что жизнь в таких условиях – в Таллине коммунальных квартир было не очень много, да и в тех, как правило, больше трех семей не жили.

Мы вошли в большую сорокаметровую комнату с изразцовой печью и одним окном, выходящим во внутренний двор-колодец. В противоположной стене была прикрытая гардиной арка – дамская спальня, приспособленная из куска коридора, не имевшего окна вообще.

Но еще больше, чем я этим коммунальными «великолепием», был ошарашен Лялин папа, которому представили его будущего зятя. Он пробормотал что-то вроде того, что никогда раньше в своем доме такого имени не слышал, и дал явно понять, что оскорблен совершением столько значимых действий без предварительной консультации с ним и его разрешения. Но выставить меня коленкой под зад ему не позволила врожденная интеллигентность. Зато моя будущая теща была в курсе (что тоже надо было скрывать от тестя). Собственно его и поставили перед фактом, чтобы лишить возможности проявить свой довольно тяжелый и деспотический характер и не дать повода для возникновения осложнений. Пришлось ему примириться, ведь заявление уже лежало в ЗАГСе. Может быть, он тешил себя надеждой, что до 4 ноября еще времени много и все, даст Бог, обойдется. Увы, с тех пор прошло почти 38 лет, а все еще не обошлось то, что начиналось в «исторический знаменательный год столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Долго ли он таил обиду, не знаю, но к нашим дальнейшим отношениям с моей стороны упреков быть не может.

Но это было далеко не единственное обстоятельство, создающее осложнения.

И даже не главное. Весьма туманным представлялось мне решение совсем другой проблемы. У Ляли, то бишь Лидии Викторовны, был только что пошедший в первый класс сын – Алик. Мой опыт общения с детьми, а тем более их воспитания был равен не просто нулю, а абсолютному нулю. Его опыт общения с взрослыми существами мужеска пола, если не считать дедушки, был резко отрицателен. Его отец – талантливый художник, как это свойственно многим творческим натурам, пристрастился к алкоголю. Собственно, это и привело к разводу. Забегая вперед скажу, что он так и не смог избавиться от алкогольной зависимости и в 45 лет умер от пьянства в г. Волгограде. Алик только раз, гуляя с дедушкой по Ленинграду, встретил на улице своего отца, и тот пригласил его в гости. Дедушка растерялся, а Алик ответил очень решительно: «Я к тебе не пойду, у меня теперь новый... (он не сказал из деликатности «папа») друг».

Но и меня он папой стал называть далеко не сразу. Это произошло только года через полтора, уже в Таллине. Мы шли вдвоем гулять в Кадриорг, он поотстал. И вдруг мы услышали: «Папа!». Я был ошарашен, но постарался не подавать виду, обернулся и, как ни в чем не бывало, спросил: «Что тебе, Алик?».

Это было тем более неожиданно, что отношения наши складывались далеко не лучшим образом.

Еще год после свадьбы мы прожили врозь, решая проблему, где нам обосноваться – в Питере или Таллине. Я представлял себе, что такое для

ленинградца покинуть родной город! Да при этом еще расстаться с родителями, сестрой.

Решающими стали несколько соображений. Во-первых, в Ленинграде я терял свое главное преимущество – знание двух языков – русского и эстонского. Последний на берегах Невы был явно ни к чему. А меня он уже, если не кормил, то подкармливал. Я всерьез занимался переводами – и синхронными, и письменными, и даже вполз уже в переводческую элиту, во всяком случае, среди переводчиков-документалистов и синхронистов. Меня приглашали переводить на все сессии Верховного Совета Эстонии, партийные, профсоюзные и комсомольские съезды, я участвовал в переводе практически всех законов и т.д. Пробовал силы и в художественном переводе, кроме поэтического.

Вторым обстоятельством был квартирный вопрос, который, как известно, испортил советского человека.

Несоветскому человеку, которому сегодня лет 20-25, понять то, что будет говориться дальше, невозможно, если не предварить это «условием задачи».

Нельзя сказать, чтобы в СССР не существовало понятие частной собственности. Существовало. Правда, называлось это иначе – личная собственность. Размер ее был строго ограничен. Так максимальным пределом личной собственности на землю был ноль. О единице речь шла в отношении собственности, например, на автомобиль. Вилки и ножи можно было иметь больше. Частные дома существовали, если не превышали определенного размера. Так, на Теллискиви мы, как я уже упоминал, мы жили в частном доме, который хозяин на всякий случай, чтоб не оказаться в Сибири, подарил в 1940-м году государству, а после войны, поскольку по размеру дом национализации не подлежал, а «товарищ Гербер» был потомственный пролетарий – вышедший на пенсию машинист паровоза, выхлопотал обратно. В пятидесятые-шестидесятые годы в Таллине даже получило развитие индивидуальное строительство. Мой отчим называл эти дома «надувальными», потому что, естественно, не на тогдашнюю зарплату они строились, как, впрочем, и сейчас. Только тогда вместо банковского кредита источником строительства были краденные с государственных строек материалы, халтурящие в законное рабочее время строители с тех же государственных строек, потому что весь советский народ дружно делал вид, что он работает, а государство делало вид, что ему за это платит. Крали каждый, что может, тогда это формулировалось так: кто что охраняет, тот то и крадет: бумагу из конторы, мел из школы, мясо из столовой, болты и гайки с завода, цемент со стройки, спирт из больницы и т.д. На самом деле, воровство уже закладывалось в систему оплаты труда. Продавец в магазине получал 60

рублей, повар в ресторане – и того меньше. Поскольку прожить на эти деньги честно, а особенно с семьей, было невозможно, то априори предполагалось, что работник что-нибудь да украдет.

Мясник, швейцар в ресторане, вообще все, занятые в сфере торговли и обслуживания, были людьми привилегированными. Парикмахерши и модистки сидели на премьерах оперных спектаклей в первых рядах по бесплатными пригласительным билетам, потому что от них зависело, как будет выглядеть примадонна. Заведующий торговой базой был гораздо значительнее академика. Власть швейцара была почти безгранична во всем, кроме политики. Я помню, как в 1960 году стоял в очереди в только что открывшийся и безумно популярный «Мюнди» бар на одноименной улице. В нем было всего 24 места – шесть столиков. Он был совсем «западный» - на стенах висели кабаньи шкуры, а на столах горели свечи, не рассеивающие лирический полумрак. Один из лучших барменов Советского Союза Дима Демьянов взбивал в шейкере коктейли. Чтобы попасть в бар без знакомства со швейцаром – а он и на лапу брал только от знакомых – надо было выстоять в очереди часа четыре. За это время все стоящие успевали перезнакомиться и обсудить массу разных вопросов, а то и завязать романчик. И когда ты попадал внутрь, то оказывался в компании знакомых, что в немалой степени формировало атмосферу праздника. В бар запрещалось попадать женщинам без чулок, а мужчинам – без галстуков. И тут швейцар был неумолим. Даже попытка сунуть ему безумные по тем временам деньги – десятку, не приводила к результату – он имел за день столько, что целое состояние для меня было для него мелочью. Передо мной в очереди стоял парень-грузин. Он не был впущен, поскольку не имел ни галстука, ни пиджака. Так ему стоило 25 рублей разрешение войти, не отстаивая очередь второй раз, после покупки пиджака и галстука. Надо сказать, что сделал он это в течение десяти минут и успел-таки войти в бар передо мной, а на спине гордо болталась торговая этикетка только что купленного пиджака. Хорошо помню, что тогда посещение бара вдвоем с дамой мне обошлось почти в 4 рубля.

И все-таки, Таллинн не шел ни в какое сравнение с Ленинградом. Я помню, как впервые оказался на Кузнечном рынке, куда меня отправили за картошкой. На всем рынке картошкой торговал только один человек. Можно себе представить, какая к нему выстроилась очередь! Я подошел, чтобы посмотреть, стоит ли вставать в нее. Мое внимание привлек акцент продавца, и я по-эстонски спросил, сколько стоит килограмм его товара. Он сообщил, что 40 копеек. Тем, кто не помнит описываемых времен, скажу, что государственная цена килограмма картофеля составляла 8 копеек, из-за чего он был даже в Эстонии нерентабельным, но все ходатайства нашего минсельхоза разрешить продавать картофель по 10 копеек, чтобы можно было еще и отсортировать гнилой, натыкались на резкое противостояние союзных органов, действовавший по странно

логике: лучше пусть не будет в продаже, но рентабельным сделать не дадим. Так уже удалось загубить в Эстонии посевы льна, сократить площади под овощами. И вдруг пятикратная цена против государственной! Правда, в полном соответствии между спросом и предложением, но я тогда еще не был полностью готов к применению в отношении себя принципов рыночной экономики. Внутренне возмущившись стяжательскими явлениями на социалистическом рынке, т.е. базаре, я стал выяснять, откуда прибыл сей торговец, судя по выговору – обитатель южной Эстонии. Так и оказалось – он привез свой товар из-под Выру. Директора совхоза, в который входила его деревня, я хорошо знал, а потому с деликатностью змеи поинтересовался, отпросился ли он у директора (назвав его по имени) для поездки на рынок (поскольку день был рабочий, да и за один день туда-сюда не обернуться). Продавец как-то застеснялся.

Не надо меня подозревать в доносительстве или даже стремлении к нему. Я использовал грубый шантаж только с одной целью – выполнить полученное задание с наименьшими затратами времени и денег. Более того, я ни словом не обмолвился, что собираюсь каким-то образом ставить директора в известность о месте пребывания его работника. Такое предположение, вероятно, сделал сам торговец, тут же предложивший мне оставить ему авоську («авоська» - очень удобное изобретение советского времени, когда было неизвестно, когда, где и что удастся купить, а потому всегда надо было иметь при себе емкость. «Авоська» представляла собой сумку из веревочной сетки, занимавшую минимум места в кармане и вмещавшую до 10 кг груза типа картошки), а самому погулять, чтобы ему не приходилось загружать сетку в моем присутствии на глазах у всей очереди, что грозило неминуемым скандалом. Я оставил ему авоську, а вернувшись получил ее с 5 килограммами картошки. С меня были запрошены 40 копеек. Я отвалил от своих щедрот 50.

В тот же день я был облит с ног до головы матерной руганью на углу Невского и Пушкинской за то, что поросил не тот арбуз, который хотела продать продавщица, а тот, который хотел купить я. На следующий день в овощном магазине на Лиговском продавщица вывалила мне на прилавок килограмм купленной мной моркови, а на недоуменную просьбу завернуть ее во что-нибудь сначала высказала все, что она думает о личностях, которые, приходя в магазин не удосуживаются предварительно запастись тарой, а потом, сжалившись, отправила меня за квартал в газетный киоск, где можно было по дешевке купить вчерашнюю газету, кулек из которой сыграл бы роль отсутствующей тары.

Должен сказать, что эта замечательная сфера бытового обслуживания сыграла почти что решающую роль в вопросе, где жить – в Питере или Таллинне.

Теперь надо было заниматься проблемой обмена квартиры. Жилье в Ленинграде ценилось выше, чем жилье в Таллинне. За однокомнатную квартиру в северной столице можно было получить приличную двухкомнатную в столице Эстонии. Однако, если санитарная норма при внутригородском обмене предусматривала наличие 9 квадратных метров жилой площади (т.е. собственно комнат, без коридора, кухни и санитарных помещений) на человека, то при междугороднем обмене требовались 12 квадратных метров. Кроме того, число людей въезжающих в Ленинград и выезжающих из него должно было быть одинаковым. И только при соблюдении этих правил обмен рассматривался соответствующими комиссиями при городских исполкомах, главной задачей которых было изыскать в совершаемой сделке обмена корыстный интерес и не допустить ее. Наиболее надежным способом получить разрешение была игра на корыстном интересе входящих в комиссию чиновников. Но мы оказались морально не способны на столь решительные действия. Поэтому нужно было во что бы то ни стало пробиться через «линию Мажино», выстроенную дабы воспрепятствовать бесконтрольной миграции населения.

Первым вопросом оказалось, что менять? У меня в Таллинне не было ничего, кроме очереди на кооперативную квартиру, на которую, опять-же, не было ни гроша. Можно было менять однокомнатную квартиру на Лиговском проспекте. Эта операция обещала наиболее выгодные варианты. Но тогда Ада Григорьевна и Виктор Константинович были бы до конца жизни вынуждены иметь 8 семей соседей в огромной коммунальной квартире, которую я уже попытался описать. Мы решили попробовать другой вариант: переселить их в однокомнатную квартиру на Лиговском, а обменять на Таллинн их полторы комнаты на улице Халтурина (ныне снова Миллионной). Что, в конечном счете, нам и удалось. А взамен мы получили двухкомнатную маленькую (25 квадратных метров) квартирку на первом этаже дама на углу улиц Гоголя (ныне Райа) и Вазе.